



18+

ЕЛЕНА КРЮКОВА
ТИБЕТСКОЕ ЕВАНГЕЛИЕ

Елена Крюкова

Тибетское Евангелие

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=22817304

ISBN 9785448371752

Аннотация

На рынке в южном городе мальчик Исса встречает купцов. Они берут отрока с собой в далекий путь... Два тысячелетия спустя, в морозной Сибири, старик Василий решает совершить последнее паломничество к озеру детства – Байкалу. Уже собравшись в путь, он видит в зеркале не себя, а босого юношу в плаще, с котомкой за плечами... Снежные вершины Гималаев, битвы и предательства, тайные слезы и великая любовь... Какую цену платит человек за то, чтобы достигнуть Света? Книга содержит нецензурную брань.

Содержание

Ангел Господень глаголет: солнечный день	5
Путешествие Иссы. Органный концерт	13
Ангел Господень глаголет: песня Царей	39
Путешествие Иссы. Иркутский вокзал	50
Дневник Иссы. Дамаск и Пальмира	70
Ангел Господень глаголет: испытание Огнем	75
Путешествие Иссы. Бандиты	82
Дневник Иссы. Разбойники	100
Путешествие Иссы. Танго на рынке	103
Конец ознакомительного фрагмента.	115

Тибетское Евангелие

Елена Крюкова

Олегу Ермакову, с радостью и благодарностью

© Елена Крюкова, 2017

© Владимир Фуфачев, дизайн обложки, 2017

ISBN 978-5-4483-7175-2

Создано в интеллектуальной издательской системе Ridero

Ангел Господень

глаголет: солнечный день

Мальчик стоял посреди рынка, и рынок гудел вокруг.

Вспыхивал огнями апельсинов. Золотыми кувшинами дынь. Россыпями топазов-изюмов.

Вился дымными усами благовоний. Пестрел дикими коврами. Вихрился солнечными цветными шелками, привезенными из звездной Индии, из страны Офир, из Тира и Сидона.

У мальчика пересохли губы: он хотел пить.

У него были с собой несколько монет, и он мог купить на них себе вкусного питья – хорошего сладкого синего дамасского вина, и разбавить его холодной водой, и так пить; или свежесжатого сока померанцев, или сока тыквы, смешанного с пахтой и крепким зеленым чаем, – кочевники зовут такой напиток «хурч», а еще они добавляют в него коровьего масла, – но мальчик хотел, перетерпя жажду, на невеликие деньги свои купить матери своей удовольствие: украшение, или моток шерсти для вязанья, или малую птичку.

Он стоял посреди рынка, и к нему подошел, жадно перебирая пальцами в воздухе, торговец птицами. Птицы сидели в клетках за спиной торговца; птицы сидели у него на плечах; птицы вцеплялись коготочками ему в волосы, и торго-

вещ смеялся от щекотки.

– Ах, чудо, чудо! – зазывно запел торговец, подойдя к мальчику. – Ах, великое чудо!

И, вторя завыванию торговца, разом запели все птицы: у него за лопатками, у него на плечах, у него на голове.

Мальчик поглядел на торговца. Он увидел его затылок. Он был выше птичника ростом.

– Ах, чудесный мальчик! – сладко завывал коротышка-птичник. – Купи, купи птичку! Птички драгоценные! Птички роскошные! Птички – загляденье! А поют! Заслушаешься! Царь Соломон, в блеске и славе своей, слыша моих птичек на золотом троне своем, засмеялся бы от радости и счастья!

Мальчик засунул руку в карман холщового серого плаща. День жаркий, а голова мальчика непокрыта: ни белого платка с черной перевязью, ни полосатой накидки, ни тюрбана. Птицы пели, заливались. Мальчик вытащил из кармана руку и разжал ладонь. Торговец по-птичьему изогнул шею и рассмотрел монеты. Два ассария. Всего-то?!

Нищего улещает. Тьфу. А одет чисто! Мать, должно быть, заботится. Или жена.

Молод для жены? И в тринадцать лет в пустыне женят. А мальцу на вид все пятнадцать.

– Дай мне белую птичку, – тихо попросил мальчик. – Вон ту.

И указал пальцем, какую.

Птичка сидела на темечке у торговца и пела громче всех.

– Белую, а-а-а! – запел торговец и широко развел руками, не сводя глаз с монет на ладони мальчика. – Два ассария! Всего два ассария! Как раз два! Угадал! Два всего лишь!

Мальчик протянул руку. Птичник схватил монеты с ладони острыми пальцами, как птичьим клювом.

– Бери! Бери смело! Не улетит! Ручная!

Мальчик робко поднял руки и осторожно снял с головы торговца маленькую белую птичку. Птичка испуганно чирикнула. Мальчик нежно посадил ее за пазуху, под плащ. Шептал ласково: не бойся, не бойся. Птичник изучающе проколол раз, другой иголками зрачков лицо мальчика. Загорелое, сожженное пустынным Солнцем и песчаными ветрами лицо птичника, похожее на горелую корку пресного хлеба, смялось подобострастной, корявой улыбкой. Из растрескавшейся губы потекла на подбородок темная кровь.

– Еще эту возьми! Эту! Синюю! Цветом как сапфир царя Соломона, да счастливо ему живется там, за облаками, в виду Всемогущего!

– У меня больше нет денег, – сказал мальчик. Птичка высовывала белую головку из-под холщовой теплой складки.

– Нет денег?! Нет дене-е-е-ег! А-а-а-а-а! – запел торговец громче, выразительней. – А-а-а-а-а! Не поверю! Никогда не поверю! Никогда не поверю, что у такого богатого славного благородного юноши нет денег, а-а-а-а!

За спиной мальчика закачалась тень и заслонила его го-

лову от жестокого Солнца.

Кто тут обижает кого?! Бьет?!

Никто никого обижает и не бьет, господин! – Птичник согнул спину в поклоне, и птицы в клетках у него на загорбке громко заверещали. – Мальчик купил у меня птичку, господин!

Мальчик обернулся. Перед ним стоял рослый широкоплечий человек в розовом шелковом тюрбане. Надо лбом в тюрбан вставлен крупный, странный красный камень – мальчик таких никогда не видал, ни на рынке в ювелирных рядах, ни в ушах и на шеях ночных продажных женщин из Храмового квартала. Гладкий камень, старательно обточенный, с неровными краями; будто вознеслась красная прозрачная морская волна на закате – и застыла.

Черные густые брови человека срослись над переносицей. Он говорил по-арамейски.

– Ты правда купил птицу?

– Правда.

Мальчик отогнул ворот плаща. Птичка вертела головой, косила черным зерном глаза.

– Как тебя зовут?

– Исса.

– Хочешь есть?

– Я не голоден, – улыбнулся мальчик.

– Хочешь поглядеть на красоту?

– Хочу.

Густобровый человек в розовом тюрбане протянул мальчику руку, и мальчик доверчиво взял ее. И так, рука в руке, они двинулись через весь рынок, и рынок гомонил вокруг них, идущих, и птичник пристально, жадно смотрел им вслед, и по лбу птичника из-под полосатой накидки капался мелкий соленый пот, и птицы, помолчав, снова запели в клетках, сплетенных из высохших прутьев иорданской ивы, у него за спиной.

Человек в розовом тюрбане подвел мальчика к рыночным лоткам на самом краю обширного рынка. На грубо сколоченных столах и на земле, в пыли возле, лежали узорчатые ковры, длинные кривые ножи и короткие кинжалы в богато изукрашенных болотной яшмой, тусклыми глазами рубинов и мелким жемчужным пшеном, серебряных и стальных ножнах. В широкой и глубокой чаше навалены синие, цвета зимнего неба, камни величиной с перепелиное яйцо. Мальчик зачарованно смотрел на бирюзу. Перевел взгляд на искусно выточенную из черного обсидиана кошку. Глаза кошки горели зеленью. Два изумруда.

– Египетские копи, – горделиво сказал купец в розовом тюрбане и потрогал кончиком пальца кошачьи глаза. – Слава мастеру, что сделал. Гляди! Такого нигде не увидишь!

Мальчик погладил каменную кошку по холодной голове. Птичка за пазухой чвиркнула раз, другой.

– Вы это все продаете?

Улыбка кошачьим хвостом мазнула по губам купца.

– Все на свете продается и покупается, отрок! – Снисхождение звучало в голосе. – Ты разве об этом не знаешь?

– Не все, – тихо сказал мальчик, а ясные глаза смотрели прямо в лицо мужчине, смело, достойно.

Купец отвел взгляд. Розовый румянец взбежал ему на широкие смуглые скулы.

– Я поспорю с тобой!

– Ты не поспоришь со мной. – Голос мальчика был тих и весел. – Разве ты никогда не дарил подарки? Тем, кого любишь?

Краска стыда на щеках купца потемнела. Солнце поднялось выше, пекло нещаднее.

– Ты без накидки, – смущенно, ворчливо сказал купец. – На! Держи!

Сдернул с торгового стола серую накидку из верблюжьей шерсти-бишт, протянул мальчику. Мальчик, улыбаясь, принял; надел.

Из-за стола на них глядели три пары веселых глаз. Белки пылали синим светом, катались под бровями не хуже бирюзы. На грубых пальцах, и толстых и худых, горели под Солнцем перстни. Крупные богатые камни сверкали с вызовом. Шелковые тюрбаны, под стать струистым атласным халатам, кричали о довольстве и веселии хозяев.

– Мы с друзьями давно торгуем, и, как видишь, радуемся жизни! – Купец в розовом тюрбане широко повел в воздухе

загорелой рукой, и на его безымянном пальце тоже сверкнул особо драгоценный перстень: камень, с куриное яйцо, странного серо-лилового, зловещего цвета, остро вспыхивал изнутри алыми пожаращными огнями. – Мы знаем вкус жизни, цвет ее и радость! Мы знаем вкус и пользу денег! А также вкус земных наслаждений знаем мы! На заработанные торговлей деньги мы все можем купить! Все, что пожелаем! Лучших, красивейших женщин! Не только шлюх, но и изысканных гетайр! Лучшую еду! Лучших коней! А гляди, какие у нас верблюды! – Смуглый жесткий, деревянный палец гордо указал на громадных, длинношеих, опущенных вислой шелковистой, золотистой шерстью, и впрямь роскошных верблюдов, крепко привязанных перевитыми веревками к заостренному столбу; сбруя, расшитая мелкими перлами, искрилась на Солнце. – Не бедствуем мы! Радуемся мы! Чего ж еще желать?

Мальчик погладил по головке и спинке птичку, совсем вылезшую из-за пазухи. Птичка медленно, цепляясь коготками, переместилась из-под плаща на плечо.

– Прав ты, – сказал мальчик, – желать больше нечего.

Улыбка жгла ему губы.

И купец в розовом тюрбане понял: в сердце прокралась тревога.

Тревожно стало ему от этой улыбки, горько, больно. С чего бы?

Хотел замахнуться. Прогнать насмешника, негодяя!

Еще и накидку ему пожаловал!

– А вы издалека привозите красоту? – вдруг спросил мальчик, блеснув глазами. – Путешествуете?

Купец видел, видел свет, что загорелся на дне широко расставленных юных глаз.

Свет любопытства. Жажда простора.

И купец, вместо пощечины злой, улыбнулся отроку в ответ.

И я, Ангел Господень, видел из-под купола чистых и жарких небес, как мальчик и купец обменялись немногими, но важными словами; обменялись записками на тонких и узких полосках пергамента из нежной козьей кожи, прибитых к кедровым дощечкам; как на прощанье улыбнулись друг другу, уже без насмешки и страха, и глубоко заглянул розовый от волнения купец в глаза непонятого отрока, широко, как у молодого бычка, расставленные подо лбом; и долго глядел ему, уходящему с птичкой за пазухой, вослед.

Путешествие Иссы. Органный концерт

Очень маленький человек, а казался себе непомерно большим. Много горя пережил.

У него на одиноком медном крючке в коридоре висел странный такой тулуп овечий, самосшитый, не помнит уже, кто сшил ему: то ли мать покойная, то ли тетка покойная, а покойная жена звала одежонку по старинке – зипун, так и он его стал называть; сверху серо-грязное плотное сукно, из такого – шинели военным шили; снизу белая курчавая овчина к сукну пришита; за длинную жизнь протерся до дыр на локтях, моль побила толщ армейского сукна и мездру, но лишь кусок вывернутого внутрь, к теплу тела, старого овечьего меха спасал его в морозы.

Лютые морозы; стальные морозы.

Накрывался зипуном поверх одеяла. Ноги к подбородку поджимал. Дрожал. Согревался. И мерз опять.

Синие искры и стрелы мороза бежали по стеклу слепого окна, слагались в узоры и надгробные цветы. А он все не хотел умирать.

Он не хотел умирать, хоть смерть ему назначили безусловную и скорую. Никто не знает часа своего, это так; а он знал, ему – сказали.

Непомерно огромная жизнь прошла. Вся уместилась на ладони.

Ладонь твердая; кожа наждачная; мозоли у основания пальцев, ближе к ладони, будто от весел. Будто б он всю жизнь работал гребцом. Что он делал руками? Ну да, работал.

Работали руки на всяких работах, изломались в костях, устали. Он ушел от всех работ, уволился отовсюду. «Как ты будешь жить?» – спрашивали его чужие, хриплые голоса. «Никак», – пожимал плечами, смеялся. «Никак, это значит не жить?» – тоскливо уточняли голоса и сливались в один серый волчий, меховой шорох. Наоборот, усмехался, только сейчас жить и начну.

Собирал пустые бутылки на задах заснеженных дворов, по оврагам, по пустырям, около бензинных гаражей; пел над бутылками песню, когда домой приносил и раскутывал, как дитяток, бережно вынимая из рваного заплечного мешка, притворявшегося ранцем.

Ел скудно. Жалкие деньги вырывались из кулаков ветхими сухими листьями, серебряными голыми рыбками. Уплывали. Вот бы и мне уплыть, подумал однажды чисто, беззлобно.

Куда уйти? Куда исчезнуть? О, исчезнуть от людей, вот счастье.

Ведь нужен Путь, и высчитать надо время, что пробудет в Пути.

И дойдет куда? Кто в объятья примет его? Кто простит?

У него в каморке висели две родовых, древних, избя-ных, лубяных, первобытных иконы. На одной горело тем-ным, страшным золотом лицо Женщины, она крепко прижи-мала к груди Ребенка. А иной раз ему казалось – Старика. С другой пронзительно, беспощадно глядел Старик. Глядел сквозь его живую грудь. Сквозь стену. Сквозь ночную ме-тель глядел, и зрачки его упирались в ледяную жесть крыш и в мертвые звезды. Если долго глядеть на Старика, он ста-новился Ребенком.

И тогда он путал возрасты и времена.

И себя путал с кем-то другим, Иным, ему неподобным.

На столе торжественно и робко расставлял снедь: испе-ченную в печке, в жарко-синих и розовых углях, гнилую кар-тошку, хрустальную старинную солонку с крупной серой со-лью, толсто нарезанный ржаной хлеб. Чай наливал в гране-ный стакан, стакан робко дрожал-колыхался в медном кри-вом подстаканнике – велик был подстаканник стакану, и ве-лика была ему его жизнь: сшили кому-то чужому на вырост, а вот ему – по ошибке – досталась.

И только отщипывал от хлеба и клал черную пахучую, вкусную мякоть в рот, – в дверь звонили либо стучали, и он тихо, мелким шепотком, матерился.

Друзья приходили внезапно, крикливо и надоедливо. Все меньше их становилось. Он не знал, куда себя спрятать от них. Кипятил воду не в чайнике – у чайника носик от-

валился давно, – в старой сожженной кастрюле; заваривал гостям чай прямо в чашках, и чашек год от года становилось все меньше. Расползались чашки, как тараканы. «Эх, Вася-Василек, – усмехались друзья, прихлебывая чай безо всякого там сахара или варенья, – эх, дружище, совсем обеднял ты! Жениться б тебе надо, а?» Он пожимал плечами: одно плечо торчало выше, другое ниже, такой сутулый был он, почти горбатый.

Один его дружок, наибольший надоеда, длинный как жердь-слега, он звал его Петрович, вот так однажды пил-пил пустой его зеленый чай – да и раскололся: вытянул из кармана книжечку без начала и конца, да ведь и без обложки, с обгорелыми страницами, – «в печке, что ли, сожгли!» – беззлобно он воскликнул, помешивая ложечкой в граненом стакане невидимый, сказочный сахар, – а Петрович вооружился очками с разными стеклами: одно увеличивало глаз, другое уменьшало, и два глаза мерцали под заляпанными жирными стеклами, как куриное яйцо и перепелиное яичко, – развернул книжку, будто носовой платок, сейчас сморкнется! – и прочитал ему медленно, важно:

«Когда он пересек Страну Пяти Рек и Раджпутану, поклонники бога Джайны просили его поселиться среди них. Но он покинул заблуждавшихся поклонников Джайны и отправился в Джаггернаут в землях Ориссы, где покоятся смертные останки Вьясы-Кришны и где белые жрецы Брахмы оказали ему радушный прием. Они научили его читать

и толковать Веды, исцелять молитвами, разъяснять народу Священные Писанья и изгонять злых духов из тел человек, возвращая им здоровье». А? Каково?

Он ничего не говорил, обдумывая услышанное. Ложечка звенела в стакане. На миг ему почудилось – в стакане стоит маленький человечек, похожий на него, только очень старый, совсем старик; белые волосы игрушечного старичка треплет невидимый ветер, и старик вцепился сухими крючьями пальцев в край стакана, как в закраину лодки.

– Это сказка? – спросил он, вынув ложку из стакана. Поднес ложечку к губам и осторожно, по-зверьи, снял с нее губами невидимую святую сладость, и проглотил, и улыбнулся.

– Нет, не сказка это! – обиженно сказал приятель и поправил на носу очки, и толстое стекло сверкнуло дальней зарницей. – Это правда! Это про путешествие какого-то, едрить его, Иссы по разным экзотическим странам, вот это что! Слушай, классная книга! Я прочитаю – и тебе дам! Обязательно!

– Дай, Петрович. Пожалуйста, – наклонил он голову и потер ладонью мохнатую щеку.

– А может, тебе бритву подарить? – Голос Петровича сверкал шуткой, голодом и весельем. – А у тебя пожрать-то чего есть, кроме хлебца и картохи?

– Однако есть.

Он сел на корточки и полез в старый шкаф. Дверца закрипела, посуда загремела, чашки и тарелки, из которых

уже никто и никогда не ел и не пил, обреченно свалились друг на друга внутри шкафной фанерной коробки.

– Ну и музыка! – прокричал Петрович сквозь посудный грохот. – Ты че там шарить, Василек? Да ну ее в задницу, еду эту! Это – я просто так сболтнул, прости!

Он поймал в руки тарелки, как скользких, бьющихся живых рыб, толкнул обратно – грудью, животом, – а живыми крючками дрожащих пальцев вынул из шкафа сверток. Разогнулся, шагнул к столу. На столешнице медленно, важно разворачивал промасленную желто-серую бумагу. Запахло солью и слезами.

– Блин, Васька, ты прям как бабу раздеваешь, – хохотнул дружок. – А чо у тебя ручонки трясутся-то так сильно? Пить надо меньше! Пить... надо... меньше...

Кивнул на водочные, пивные бутылки в углу. Пальцы разворачивали бумагу дальше, витки манускрипта вились и отваливались, наконец, свиток развернулся весь, и обнажилась, сверкнув коричнево-серебряной старушьей чешуей, длинная, как сабля, рыбина.

– Сколько она у тебя тут лежала?... ах, накормишь щас... блевать буду... червяки, поди, уж в ней... Ах, хар-роший омулек, рыбочка, ры-ы-ы-ыбочка...

Он глядел на рыбу, как на старинный драгоценный меч, вынутый из ножен. И правда, видом она была чисто меч: узкая острая башка, плоское брюхо, стройный, клинком, ножевой хвост. Он взял ее в руки, как ребенка, и шумно, с на-

слажденьем нюхнул.

– Ну чо, под рыбку-т надоть ить водочки?

Петрович подмигнул ему обеими глазами – куриным и перепелиным яйцом, и он захохотал – сначала тихо и дробно, потом все сильнее и раскатистее. Он давно не смеялся.

– Есть у меня. Берег, – тихо сказал.

Вытащил из-за печки, из-под кровати, бутылку. Она початая была. Зубами затычку сдернул. Крикнул Петровичу зло и весело: допивай чай, быстро! Петрович испуганно выхлебнул из чашки весь чай, чуть не поперхнулся. Он разлил водку – всю: Петровичу в чашку, себе в стакан. Прежде чем разрезать рыбину, еще повертел ее в руках, еще понюхал, будто бы помолился ей. Потом взрезал омуля – грамотно, ловко, быстро, даром что рыбина от долго лежанья в шкафу затвердела, как доска.

Они выпили водку, всю сразу, до дна, и сначала нюхали рыбу и скрипло крякали, потом долго, радостно, как звери, грызли. Столетней давности омуль оказался вкусным и терпким, соль щипала язык, от водки велась вбок и вверх, танцевала и крутилась, веселела голова, горячела грудь, там, где сердце.

Когда взвеселевший Петрович собрался восвояси, он, пьяненький и добрый, на радостях оставил Василию, сунул в руки, как поленце, чтобы печь растопил, размахренную, обожженную книжицу: на вот, пес с ней, возьми, развлекись, ночи-то все равно долгие у тебя, а за свет ты платишь?

«Не плачу», – мотнул он кудлатой сивой, тяжелой как гиря головой, а внутри ему отзвучало: «Не плачу».

В больничке, где он лежал, больные в палате не церемонились, сказали ему ясно и просто: да, батька, ты ж весь изранен напрочь, ну ты смотри на все философски, тебе ведь немного осталось, так что пей-гуляй в свое удовольствие! А врачи тебе уж ничем не помогут, ничем! «Ничего тебе, Василий-царь, не вырежут и ничего не вставят, – прокряхтел врач, сидя возле него на краю его койки на последнем, перед выпиской, обходе, – ну вот совсем ничегошеньки! Прострелен ведь насквозь, искорежен, живого места нет... Да тело б ладно... Башка у тебя... Я б тебе никогда не сказал, да жаль мне тебя, уйдешь отсюда без правды! Правда – ведь она лучше обманки?» Врач сделал такое движение ртом и рукой, будто курил. Наверное, хочет закурить, подумал он. Пошарил под матрацем, вытащил пачку папирос. Вот, курите, молча, вежливо сказали его рука и глаза. Врач замахал толстенькой мягкой лапкой, будто муху отгонял: «Что вы, что вы! Папиросы! Да я их... сто лет назад... Все уж сейчас сигареты!.. а вы...» Он повел кривым ртом вбок и упрятал пачку обратно под матрац. «А у меня на сигареты денег нет».

Пустой дом ожег его пустыми глазами окон. Стекла шкафов хохотали. Чашки скалились фарфоровыми, шербатыми ртами. Он схватил со стола чашку и швырнул ее об стену. Звон отрезвил его, и он тихо, нежно, неслышно заплакал над

собой, над приговором своим. Он оплакивал свою смерть, будто б она была живая и вот умерла, и вот лежит перед ним в гробу.

Всю ночь он пролежал, глядя в затянутый паутиной потолок. Совсем один, вот ведь штука!

А сколько в целом мире людей совсем одних?

Утром встал, оделся, надел свой старенький овчинный зипунчик, шапку напялил по самые брови – и вышел из дома, лишь бы идти, перебирать ногами. Деньги в кармане водились: звякала мелочь, шуршали бумажки – вчера он сдал найденную стеклотару. Он искал бутылки в оврагах и на задворках, как грибы. И они сами его находили. Поэтому он сегодня был богатый, очень богатый. И сам себе завидовал. И шел вперед. И слезились глаза. И дрожали в улыбке губы.

Родной холодный город на берегу ледяной зеленой реки, где он прожил всю жизнь, сыпал ему в глаза, в лицо куревом и фонарями, руганью и звоном трамваев, смехом и блеском наглых витрин, искусной резьбой деревянных наличников и дрожащими над головой проводами, облепленными искрами куржака. И ветки деревьев тоже были обвалены в сахарном куржаке; куржак свисал с ветвей старинным кержацким кружевом, плыл перед лицом царицыным лунным покрывалом, осыпался призраком мертвой свадьбы, мертвых крестин, мертвых похорон. И он шел по городу, не зная, не чувствуя, идет ли; а может, уже летит, а может, он уже умер!

«Я живой, я живой, – шептал он себе заледеневшими, жесткими губами, – я еще живой, нет, врешь, гадина, живой».

Перед глазами вымахнула и растаяла в метели яркая красная бабочка афиши. Он остановился, вернулся, чтобы рассмотреть. «ЛИДИЯ ЯНОВСКАЯ. ОРГАННЫЙ КОНЦЕРТ. ПРОГРАММА: ИОГАНН СЕБАСТЬЯН БАХ. ПРЕЛЮДИЯ И ФУГА СОЛЬ-МАЖОР. ФАНТАЗИЯ И ФУГА СОЛЬ-МИНОР. ПАССАКАЛЬЯ ДО-МИНОР. ТОККАТА И ФУГА РЕМИНОР. НАЧАЛО В 18 ЧАСОВ. БИЛЕТЫ ПРОДАЮТСЯ».

А-а, сказал он себе под нос, ага! Музыка! Музычка, концертники, играют всякие Лидочки...

У первого же прохожего спросил: не знаете, где тут у нас на органе играют? Прохожий сначала осклабился: на органе или на органе?! – но, поймав злой высверк его маленьких зверьих, из-под бровей, глаз, осекся: «Да напротив Крестовоздвиженской церкви старый польский костел, там органый концертный зал, вот туда и идите». И окинул его ледяным, поганым ушатом пошлого взгляда: интересно, чего это тебе, лахудренок замызганный, в органном-то зале филармонии понадобилось? Или, может, милостыньку поклянчить желаешь? Так там и храм рядом, все путем.

Он вошел в костел и долго, мучительно отряхивал зипун, плечи, рукава, шапку от снега – к вечеру разыгралась ме-

тель, а он до самого вечера все бродил по городу, изредка заходя погреться в кафе или в пельменные. Так до концерта и добрел. Гардеробщица с сомнением ощупала его, бедняка и одяшку, барсучьими глазами; он молча, церемонно показал ей купленный в кассе билет. Денег на билет хватило, и еще осталось, завтра еще он купит еду, завтра не умрет. Вместе со всеми, с гомонящей живой публикой он, приговоренный и уже почти неживой, негнушимися ногами поднялся по маленькой лестнице и вошел, вплыл в темный, как озеро, зал, прозрачный, холодный, мрачный.

Люди плыли призрачно и медленно, как рыбы, в полумраке, расплывались по рядам, искали свои места, расслаживались, гомонили, пересмеивались, умолкали. Умолкала жизнь. Умолкало слово. «Сейчас будет музыка», – радостно и страшно подумал он, и иглы священного мороза мгновенно, больно искололи его горбатый позвоночник.

Сцена слепила желтыми плахами половиц, будто бы, как в избе, наскобленных ножом до золотого света, натертых воючей мастикой до скользкости льда. На высоких каблуках пошла по желтому льду из-за кулис высокая тонкая женщина, нет, девчонка совсем, или издали девчонкой казалась. Он вскинул большие, набрякшие красным огнем веки – и зажмурился: серебряные органные трубы пронзили потолок, развернулись веером, и солнечные люстры щедро кинули снопы и связки лучей в гладкий металл, и трубы вспыхнули, звуча лишь светом, лишь тишиной.

Тишина. Она еще стояла, как синяя, мрачная вода в заливе. Под звездами. В виду острых, как топоры, грубых, как рыбацкие скулы, скал.

Тонкая девочка в блестящем синем платье, видимо, расшитом настоящими ночными звездами, дошла до органа, ловко села, рыбкой скользнула на скамью, и он увидел, как за ее спиной вырос такой же тонкий, как она, мальчик. «Зачем тут мальчишка?» – яростно спросил он себя; он уже не хотел, чтобы рядом с музыкантшей кто-то чужой и лишний мотался. Мальчик в черном строгом костюмчике быстро, один за другим, выдернул из органной панели штифты, быстро развернул на пульте ноты, длинные, как древний свиток, быстро поправил над головой у органистки узкое, как омуль, зеркальце. «Блин, как в машине зеркало, а куда ж она поедет-то?»

И музыка навалилась сразу, огромным рыбьим ли, нерпичьим брюхом.

И подмяла под себя. И он задохнулся.

Гремели снега. Выли метели. С ног его сбивал ветер, и он грозил ветру кулаком, и падал на колени, и валялся в снегу, катался, и катил его ветер по снегу, по насту, как пустой бо-чонок, – и он поднимался, и он шел, все-таки шел! Он шел между деревьев, между толстых рыжих стволов огромных кедров, над головой мотались бешеные ветки, хлестали иглами щеки, – и, отодвинув рукой в голице колючую черную

марь, он увидел эту широкую синь. Это серебро. Эту волю и свет.

И шагнул из тьмы – на свет, на свободу.

Боже мой, Озеро! Вода! Мой дом! Вот ты какой.

Тебя зовут Байкал, я знаю. Я это знал давно.

Ты синий дом, ты ледяной окоем. Ты изогнут лазуритовой ложкой, и я ем из тебя, ты питаешь меня. Ты пытаешь меня простором, ибо я маленький и конечный, а ты – необъятный и бесконечный. Ты искривлен саблей, и ты вздымаешься над шеей предателя и слабака. Ты любишь сильных, не маленьких; и я пришел к тебе, видишь, я долго шел и пришел.

Музыка ветра, греми! Звените, кедровые иглы! Бухайтесь оземь, о серебряный наст, шишки величиной с голову ребенка! Я свободен, я бросил все, я все разбил, предал и пропил, все продал и все прокутил, и я бегу к тебе! Гудят кедры. Гудит вода под ветром. Как, Байкал, ты еще не застыл?! Ну да, все в снегу, на дворе декабрь, а лед обнимет тебя только в январе, когда уже индиговая, медная вода не выдержит звездных морозов. Байкал, вот я весь перед тобой, перед музыкой твоею; прими меня и прости меня, ибо я ведь к тебе, только к тебе и шел всю жизнь. Я занимался черт-те чем; я вольтанил, зарабатывал, пропивал, кувырчался с бабами в теплых и утлых постелях, женился, расставался, хоронил, дрался, жрал, пил и спал. Я – жил. Я – жил?! Если это жизнь, тогда, Байкал, ты – что же?!

То, что я творил, это не жизнь. Это игра в жизнь.

Я перед тобой, бездонная музыка моя; перед тобою, бездна. Ты – бездна! В синей бездне твоей погребется, пропадет все наносное, все недужное, все роскошное и мишурное, ибо ты прост и прозрачен, и гигантским, длинным, как рыба твоя омуль, синим кривым зеркалом ты отражаешь небо. Байкал, ты – колыбель! Ты – выгиб нимба земной, земляной иконы, брови коей – увалы и хребты, глаза – реки текущие, шея, коса и руки – отроги, лощины да золотая, чермная тайга, а уста – брусника кислая, терпкая, желанная. Цвета неба, цвета царского изумруда светящийся нимб, ореол! Выгиб крыла ангелицы; выгиб руки, а в руке я лежу, маленький, смертный, несчастный. Бай-Кель, Белая Вода! Дай глотнуть. Глотну – не умру. Как оглушительно гудят твои кедры! Как поют твои птицы! Как ветер твой свистит в ушах! Дай мне жизнь, прошу тебя. Дай мне жить. Я ж не жил еще. Дай мне прибрести на берег, ближе к тебе, еще ближе. Встать на колени. Нагнуться, чтоб шея заныла. Губами к воде припасть. Вхлебнуть синюю ледяную влагу. Поцеловать тебя.

И тогда уж – бери меня, Владыко.

Женщина за органом, похожая на обряженную в церемонное дамское платье озорную школьницу, нажимала черные клавиши, раскачивала корпусом взад-вперед, помогая пальцам всем телом извлекать из инструмента вой и плач, стон и пожар. Музыка была так горяча, что воздух во тьме костела накалился, и ноздрям больно было вдыхать жар. Пламя

смерти колыхалось рядом. Он смутно подумал: вот как можно умереть, в огне музыки, и хорошо будет это, – но мысль исчезла, утонула в накатившей ледяной, прозрачной волне.

Он ясно видел сквозь воду. На дне глубокой музыки он рассматривал круглые мощные камни. Россыпи гладкой синей, сердоликовой гальки. Вот рыбы проскользнули. Он затаил дыхание. Он видел рыбы спины. Рыбы шли медленно и тихо, боясь растревожить сонную синюю воду.

И скользнула – за огромными – малая рыбка одна. Он закрыл глаза: с закрытыми глазами он ее лучше видел. Золотая! Прозрачная вся... Скелет сквозь масло тельца видать... Будто слепленная из топленого масла или из прозрачного бурятского меда, плыла почти по дну Озера крошечная, как жизнь, рыбка, и он чуть не закричал: какая ты красивая! Лучше всех! Иди ко мне! Протянул руки. Руки наткнулись на спинку кресла. Слепые пальцы случайно цапнули чужую голую шею, чужое ожерелье. Возмущенное шипенье ожгло его: «Эй, там, вы что! С ума сошли! Дайте послушать!» Он смущенно опустил руки. Теперь уже широко открытыми, настежь распахнутыми глазами он ловил движенья органистки: вот она взмахнула руками, вот колено подняла, вот куда-то уперлась ногами, себя и все свое рыбе, гибкое тело из-за органа, со скамьи прочь выталкивая, – а орган в это время звывл оглушительно, страшно, хоть уши затыкай.

Как она там, вблизи, выдерживает мощь этих звуков, подумал он растерянно, как же не оглохнет, бедная, – и взгляд

поймал совсем уж стыдное, манящее: пола ее расшитого люрексом платья откинулась вбок, и он увидел голую ногу музыкантши, обтянутую черным чулком, – как у проститутки белье черное, подивился, – нога поползла вбок, широко расставила женщина ноги, как бы нарочно для мужчины, раздвинула, и носок ее туфельки уперся, он рассмотрел это, в деревянную громадную, как топорище, клавишу у нее под ногами. И пальцы ее в это время впились в ночь клавиш, будто когти совы! У, колдунья. Он глядел уже жадно, во все глаза. Прикрыл рукой ширинку, как деревенский парень. У него очень давно не было женщины – с тех пор, как он похоронил вторую жену, он с бабами не спал. Все, завязал, а тут-то что?!

Обнять. Исцеловать всю. Зацеловать и там, между раздвинутыми белыми омулевыми ногами. И пусть закричит, завоет от счастья, как эта музыка.

Он шумно выдохнул, и опять в соседнем кресле заворчали: Господи, что за публика сегодня, дышит ведь как паровоз!.. послушать не дает!.. – и тут случилось необъяснимое.

Его руки стали ее руками. Его ноги стали ее ногами. Его лицо стало ее лицом. Его пальцы стали ее пальцами – и вонзились, вклеились, не разорвать, в липкость и обжигающую лаву черных и белых, костяных клавиш. Клавиши скалились: белые зубы в черной пасти. Его грудь стала, о, ужас, ее грудью: двумя выпуклостями, двумя пупырышками, да что там, почти школьница, а туда же, в бабий лифчик детские сиськи запихивает! И, что всего ужаснее было, там, где

у него восстал, пожелав за много лет красивую женщину, твердый, истекающий соком уд, вдруг образовалась позорная полость, дикая и душная пустота, будто шар перекатывался внутри, внизу его живота, полый и яркий, ярче солнца, жаркий шар, и шар этот дрогнул, в такт музыке, раз, другой, а потом задрожал все мощнее, все чаще, дрожь музыки передалась наверх, по ксилофону ребер до серебряной трубы горла, до медных литавр безумных щек, до туго натянутого барабана черепа, и под жестяным, деревянным, кожаным куполом вспыхнул ослепительный свет, заставивший его – нет, ее! – еще сильнее, напряженной вытянуть вбок ногу, достать до самой крайней басовой педали, поймать огненный воздух ртом, и – да, и это ужасней всего – закричать, в полный голос закричать от забытого счастья под готическими сводами старого костела, под потолком рушащейся жизни.

Она – или он? – нет, она уже, она, да! – стала чудовищной, космически круглой жемчужиной, и жемчужина эта катилась, чуть поблескивала и набухала в разымчивости багряных, малиново-сырых лепестков, в слоях красной, кровавой, живой и жидкой слизи, росла и круглилась и влажно сверкала, и язык огня лизал ее, и она чувствовала, что это не она в мире, а мир – внутри нее; она дышала, пульсировала, и дух реял не над зимней землей, а внутри нее; она теплела и алела, горела и светилась изнутри, и она была – всей ныне умирающей плотью всего на свете, что пожарищной жизнью еще билось, еще мерцало.

Она, женщина, была Байкалом; он, мужчина, Байкал, гремящий на земле и в небесах, теперь женщиной стал, о чудо! И как теперь звался он? Белая Вода? Синяя Тьма? Золотая Рыба?

Руки, слабые женские пальцы играли, ласкали весь суший под Солнцем и Луною мир, всех зимних птиц, все улицы и набережные, заметенные снегом, все утонувшие в метели села на берегу Байкала; и зеленый лед Ангары ласкали они, и белые столбы дыма – как твердые белые валенки – на морозе – из кирпичных труб; и повязанных шалями от мороза детей; и укрытых шубами – от мороза – чтобы не замерзли, идя в последний путь – в гробах – в открытых кузовах грузовиков – мертвых стариков; и орущих в роддомах рожениц, их истеричные, потные пальцы, рвущие простыню; и дворников, скребущих лопатами слежалую снежную соль; и омуля, светлую до слез серебряную рыбу в обледенелом ведре, что продавала старуха на городской площади, дырявой попоной накрыв, – а любопытным показывала, попону откинув: «Ох, и рыбочка вкусна!.. Ох, и рыбочка тут у меня!.. Купи, однако, не пожалеешь!.. Сам засолишь – пальчики оближешь... да что там... ум отъешь...»

Матка, в сердцевине которой зарождался мир, плотно, жадно приклеившись к ее прозрачной, горячей тонкой стенке, отделяющей жизнь от смерти, надулась, будто вздохнула, расширилась, вглотнула последний вздрог цветного Сиянья – и опала, выдохнула боль, замерла, застыла. Замерзла.

Органистка оторвала руки от клавиш. Мальчик в черном костюме аккуратно и бойко вдвинул обратно в органную короб штифты. Языки предвечного огня свернулись в клубок. Василий беспомощно озирался, или это она оглядывалась вокруг? «Что вы орете! – злобно крикнули ему из задних рядов. – Выкиньте вон этого идиота!»

Она стояла в круге света, совсем одна. И он стоял совсем один. Да, он стоял, он встал с кресла и стоял, как солдат на карауле, и его дергали за полу кургузого штопаного пиджака: да сядьте вы, что вы вскочили!.. – а потом все стали вставать и хлопать музыкантше стоя, беря с него пример.

И так весь зал встал вслед за ним и аплодировал стоя белокурой органистке, а она кланялась неумело, будто бычок, воздух лбом бодала, а у него лицо все было залито слезами, и он хлопал в ладоши, хлопал до боли, до судорог в мышцах, все хлопал и хлопал, и он видел, как несут ей на сцену букеты, и ловил шепот рядом: да, Бах!.. да, Себастьян!.. да, это ж надо так постичь Старика!.. да, молодец Лидочка, да, талант!.. – и ладони у него пожаром зажглись, таежным, страшным пожаром, и он испугался себя, что вот сейчас перемахнет через кресла одним диким, волчьим прыжком, ринется к сцене, схватит ее, девочку свою, на руки, притиснет к себе что есть сил – и вон с ней, на улицу, под звезды, в мороз, с ней, полуголой, родной, чужой навсегда.

И он, расталкивая коленями чужие колени, пробрался через чужие смешки, подолы, брючины, животы, запястья, вы-

летел из гремящего, как погремушка, зала, и орган блеснул в него последним серебряным жадным огнем, ожег ему затылок, шею, и он, схватив зипунчик свой из рук надменной, как царица, гардеробщицы, сумасшедшим колобком выкатился на железную от мороза улицу, под длинные иглы звезд, в зеленую, изумрудную, дикую ночь.

Не шел домой – катился клубком, мохнатым домовым, бабаем. «Да, я бабай, я волчок-серенький-бочок, я уже не я, а кто же?!» Еле попал ключом в замочную скважину. Отпрянул, войдя, от своей тени.

– Эх, Васька, – вслух сказал себе, и голос крепко ударился о замызанную печку, разрисованную сажей вдоль и поперек, – что ж теперь делать-то?

Голос повис в пустоте, замотался бельем на веревке. Лицо девочки-музыкантши синей Луной плыло, качалось перед ним. За расписанным ледяными папоротниками и хвощами окном вспыхивал, гас и опять загорался одинокий фонарь. Он подошел к столу, придвинул с грохотом стул, сел; взгромоздил на стол локти, как две гири; стал думать – и с ужасом обнаружил, что мыслей не стало в голове.

Пустота. У него под черепом зияла пустота.

Странная и прекрасная. Это не была пустота страшной ночи и бесконечной тьмы. Она мерцала, возгоралась и опалесцировала тусклым, занебесным белесым, нежным светом,

и ему хотелось ощупать этот свет губами, как давеча – исцеловать голые ноги искусной органистки. Пустота освободила. Пустота звала. Пустота наполнялась его собственным дыханием, просвечивалась им насквозь.

Он встал, потрясенный, и шагнул вперед.

Он шагнул в пропасть. В пустоту. Еле устоял на ногах.

– Ах ты, – бормотнул, – что ж ты будешь делать... что...

Ухватился руками за край стола. Стол под руками поплыл, как льдина. Он цеплялся за черный лед и молился: Господи, не покинь! Что со мной! Куда я! Куда...

А пустоту внезапно, грозно и плотно, туго и тесно стал наполнять живой мир, и он чуть не упал под натиском грозно катящейся жизни! Они все бились, вонзались, влетали и клеткотали, врывались, разрывая его сосуды и обрывая себе перья из крыльев и шерсть с боков и из хвостов – все живые, все не желающие смерти: и быки и коровы, и свиньи с кольцами в носу, и белки и черные, искристые соболя, и куницы и горностаи, и медведи, что дико ревели, разевая красную смрадную пасть, и волки с капающей с клыков серебряной слюной, рвущейся нитями на горьком ветру, и голуби и вороны, и собаки и воробьи, и росомахи и раскосые, как хитрые монголки, рыжие рыси, а вот и люди повалили, о, да как же много вас, куда вы претесь такой дикой толпой?!.. остановитесь, вы не поместитесь в моей пустоте все, я не вмещу вас, моя голова не для вас, моя грудь...

Он выставил прямо перед собой ладони, защищаясь

от войска зверей и людей, – напрасно! Они вползали и вбежали в него, пробивали пустоту головами, разбивали кулаками и локтями, и все плотнее, все тесней и горше набивались ему под череп, и распирало изнутри бедные кости, и настал миг, и – крак! – лопнули костяные извилистые швы, треснула, как кедровый орех, голова, и свободно хлынули наружу, вон из тюрьмы пустоты, его народы, его зверье, его моря и земли, что так стосковались по нему, по нему одному, пока он был – человеком.

Разрушилась, рухнула невидимая перегородка в его мозгу, раньше разделявшая его и мир. И он в одночасье стал зверем; стал птицей; стал каждым из мертвых и живущих; стал Богом; стал свободным. И губы разлепились. Голос вышел наружу – он тоже был свободен теперь.

– Спасибо, музыка, – сказал ему, глухому, его голос, – я свободен!

Глаза огляделись. Пора собираться. Ногти почесали старый грубый рубец, шрам поперек губы. Руки сняли штаны, натянули на ноги теплые подштанники и вязаные старые, без пяток, шерстяные носки. Вторая, покойная жена его, именем тоже Лида, как и нынешняя музыкантша, штопала ему носки, напяливая их на смешной деревянный гриб. Когда Лида умерла, он сжег гриб в печке.

Руки старательно, заботливо поддели под рубаху теплый собачий жилет, пошитый его первой женой, Раисой. С Раей он разошелся – у них родился мертвый ребенок, Рая очень

плакала, выплакала себе все глаза и все лицо и стала страшная, как осенняя ночь, и с тоски изменила ему с его дружкой Петровичем. А потом ушла: и от Петровича, и от него. Он Петровича потом простил. Они распили на двоих три бутылки водки, сильно опьянели, переколотили в доме много посуды и целовались пьяными, мокрыми губами, склеивались солеными мокрыми лицами. Молочные братья. Муж и любовник.

Жилет он не выбросил со зла, сохранил, собачий мех спасал его зимой. Он думал – Райка живет, обитает где-то, а потом ему в трамвае случайно сказал незнакомый знакомец, что Райка умерла.

Ну вот, да, кажется, все. Всунуть ноги в подшитые свиной кожей валенки. На голову шапку нахлобучить, вроде как живого волчонка насадить. Вцепись когтями мне в лысину и в загривок, зверек! Вперед!

– Прощай, моя жизнь, – сказал он сам себе – или уже не он.

А кто это сказал?

Он боялся глянуть напоследок в старое, битое зеркало, висящее близ печки. Боялся: знал, кого там увидит. Сердце знало. Крепко билось.

И все же глянул. И все же изумился.

Зеркало будто внезапно удлинилось, вымахнуло ввысь и вниз.

И рассмотрел себя – всего, подробно, жадно, жарко,

во весь рост.

Из зеркала на него глядел нежный высокий юноша, мальчик почти. Длинные шелковистые волосы до плеч, русая паутина. Морозный, инистый пушок над губой. Широко, как у нерпы, расставленные, почти под висками горящие, узкие длинные, два малька, вроде как бурятские глаза. Бородка чуть пробивается. Брови над переносьем золотой травой срослись. Станный плащ, наподобье холщовой хламиды, а может, раскроенный надвое грязный мешок из-под картошки, висел вдоль сильного, это чуялось под холстом, крепкого молодого тела. Текли, падали холщовые серые складки. На груди висел, на тонком ремешке, кисет из тончайшей телячьей кожи. А может, то была кожа нерожденного теленка. Убитого гадкими жестокими мясниками в утробе матери-коровы. И мастер сшил из него мешочек, а женская рука насыпала туда мелких нефритов и янтарей – на радость, на смертную память.

Еще на груди, на ремешке чуть потолще, висела маленькая нэцкэ из моржовой кости. А за плечами, на спине, мотался маленький узел дорожный. И он хорошо знал, что там, внутри, за поклажа: охотничий нож в кожаном самосшитом чехле, баночка с солью, жестяная коробочка с китайским чаем люй-ча, железная фляга с крепким напитком, который пьют лишь мертвые скифы одни в целом мире, и никто больше, – и еще, о да, еще там лежали вата и бинт, на случай внешней раны, а еще – кусок вяленого мяса бастурмы, на слу-

чай внезапного голода, а еще – там лежала маленькая тонкая дудочка, о, должно быть, флейта, а может, она называлась авлос, а может, она называлась сякухати, – выточенная из кости древнего дикого зверя, с шестью крохотными отверстиями, похожими на ноздри или на черные зрачки: всегда глядят, всегда дышат, звучат – всегда.

И он знал, что умел на ней играть.

Поправил ремень на плече. Эка, одежда-то легкая, легче пуха, в пути долгом задрогнешь, паря! Еще раз поглядел на себя, молодого, дико и странно одетого. Краем сознания прошло черное крыло прежней, мертвой мысли: если это не я, то кто же? И еще: доктор прав, опухоль выросла, перекрыла мне воздух мира, и я сошел с ума.

– Василий, – тихо, мрачно сказал сам себе и потрогал себя за нежную, пушистую юную бородку, – Васька, это ты, что ли? Или ты спишь?

И красивый насмешливый юноша из зеркальной озерной глубины медленно ответил ему, и он услышал, и его непослушные горячие губы повторили, как заклинанье:

– Меня зовут Исса, и я Лучший из Сынов Человеческих.

– Мне все обрыдло! – заполошно крикнул он. – Ухожу! От всего ухожу! Сам от себя! Убегаю! Пусть свалюсь в дороге, на вокзале, под лавку... и чужие люди похоронят!..

– Ухожу в дальний путь, – весело, счастливо, громко сказал мальчик с губою в пушку в битом зеркале с облезлой, как чешуя, амальгамой, – ибо хочу увидеть мир большой и пре-

красный, и иные страны, и людей иных, и исцелять их, если хворают они, и спорить о Божественном, и беседовать с царями, и ласкать и кормить нищих, и прощать преступников, и научить их любви.

Ангел Господень

глаголет: песня Царей

Гляжу на затылки людей. Они склонились над походным очагом. Людей немного. Считаю их, как коров, по головам: один, два, три, четыре человека. И пятый с ними – мой господин, Исса Пресветлый.

Волосы одного падают длинными лохмами в котел с едой, огонь в очаге подпаливает прядь, и в душном воздухе палатки из овечьих шкур пахнет горько, прогоркло, жженым козым рогом. Другой, ростом повыше и в плечах пошире, в ярко-розовом, расшитом тусклым желтым жемчугом тюрбане, раскладывает на кожаном полу палатки войлок, овчины и грубые одеяла, связанные иерусалимскими женщинами из шерсти белых тонкорунных баранов. Третий осторожно снимает с потной головы надоевший тюрбан, чешет виски и темечко отросшими за время долгого перехода ногтями, гладит смоляную, в крутых завитках, бороду, нежно гладит бок длиннорюлого кувшина. Кувшин лежит на коленях у него. Так гладят, томясь и глубоко, пьяно дыша, женскую ягодицу, женскую круглую грудь. А не мертвую глину. Вижу, он хочет выпить вина. Жадно дрожит. Он истомлен долгим путем.

Четвертый, уже свернувшись в клубок наподобье старого

кота, подложив руки под щеку, спит на расстеленной кошме. Он сладко спит и раскатисто храпит. Блестит золотая серьга в его грязном смуглом ухе. Его шерстяной головной платок цвета ошипанной мертвой курицы валяется подле. Конец платка достигает до огня. Тот, кто гладит кувшин, отодвигает платок ногой, чтобы не воспламенился.

Что делает пятый? Он стоит на коленях перед горящим очагом, сложил руки на груди. Молится усердно, погружен в молитву. Так ведро погружается в глубокий колодец. Я вижу сверху его нежный пробор и тускло блестящую, светлую медь волос; вижу сгорбленную в поклоне спину и одновременно – грудь, облеченную в холщовый плащ. Гибкая хорда позвоночника чуть выпирает из-под живых, льющихся складок плаща. На его лице и руках дорожная пыль. Пальцы вздрагивают, губы шевелятся, веки набухают слезами – он молится.

И я, Ангел Господень Незримый, вижу и слышу его молитву.

Ибо это мой мальчик и мой Господь; и я послан хранить его и наблюдать за ним.

Он не видит меня, ибо я невидимо лечу над ним, стою над ним, как столб теплого воздуха; иной раз он меня чувствует и поднимает ко мне лицо, и я вижу с высоты, какая у него тонкая лицевая кожа: видно, как в мочках ушей ритмично бьется кровь, толкаемая сердцем, как переливаются двумя громадными розовыми опалами гладкие, безволосые щеки.

Смешной пух уже пробивается у него под подбородком. Это признак того, что завтра мальчик станет мужчиной.

Я же Ангел, реющий над питомцем моим веселой стрекозой в пустом и чистом, палящем небе, под сводами разбитых в степи и в горах шатров, я – ни мужчина и ни женщина; я та сущность, что может, для людей, стать и мужчиной и женщиной, как они того захотят, внезапно, в ночи, увидя пламенного меня и в страхе Господнем беседа со мной.

Четверо путников – иерусалимские купцы; они идут на Восток, торговать и процветать благодаря удачному торгу, и отрок увязался вместе с ними; снаряжен маленький караван, всего семь верблюдов, это не так много, много больше караваны на Востоке бывают: до ста верблюдов – ханский караван, двести верблюдов – караван Великого Могола Раджниша, раджи роскошного Кашмира.

Купцы взяли с собою мальчика, они пожалели его: мальчик прибежал к ним в слезах, жаловался: «Меня женить хотят, и чтобы хозяйством я занялся, и чтобы детей моих жена моя мне рождала! Я же хочу иного!» – «Что же ты хочешь?» – спросили его купцы. «Я хочу видеть священные звезды! – дрожа голосом, ответил отрок. – Я хочу взойти на высокую святую гору, как на крышу храма, и оттуда трогать плащ Бога моего голой рукою и обращать прямо к Нему речь мою!» А кто ты такой, чтобы обращать речь свою к Богу нашему, строго спросили купцы? «Я сын бедной Марьям

и старого Иосифа, и я один знаю, что я сын Бога моего!» – дерзко выкрикнул юноша. Купцы склонили друг к другу головы в цветных тюрбанах и сбивчиво, ворчливо зашептались: а, этой Марьям?.. этой, что забеременела на стороне и понесла, а от позора спас ее святой старец... это ее первенец?.. да, дерзкий мальчишка... но как глаза горят у него!.. возьмем, братья, авось он поможет нам в пути, ведь он молодой и сильный, как молодой горный баран... будет мешки таскать с товаром, будет поить верблюдов на постоянных дворах...

Я слышал их шепот. Я видел, согласно наклонили головы свои они, и безусый мальчик радостно засмеялся: взяли! Взяли его в дальнюю, святую дорогу!

И видел я, что матери своей Марьям он не сказал ничего. Не прощаясь, он ушел из родного дома своего; собрал нужные в дороге вещи в маленькую котомку, гребенку не забыл, головку чеснока зачем-то, понюхав, в котому сунул; а еще на тонком вервии сохла под потолком засоленная намедни домовитой Марьям длинная, как сабля, рыба; и ее мальчик с веревочки сдернул, и, полюбовавшись ею, как охотничьим ножом, тоже бросил в дорожный узелок.

Красные отблески огня прыгают по лицам, рукам. Лижут алые, кровавые отсветы стены палатки, из козьих и бараньих шкур сшитой. Трое нагнулись над горячей пищей, четвертый спит; пятый все молится. Трое терпеливо ждут, когда мальчик кончит молиться. Его молитва бесконечна. Молит-

вой Богу своему он сыт и пьян.

Не выдерживает купец в розовом, как морская заря, пышном тюрбане; помешивая ложкой варево, он тихо зовет: «Исса! Благородный Исса! Ужин готов!» Рыжие волосы мальчика флагом струятся на плечи. Грудь и живот слегка приподнимают холстину хитона – он часто, как в простуде, дышит. Прервали его молитву, и я вижу, как огорчен он. По склоненной шее катятся капли пота. Он вспотел, будто дрова рубил. Отирает пот с шеи твердой, крепкой маленькой рукой.

«О да! Господин, прости меня! Трапеза наша...»

Он смотрит на кувшин с вином, что любовно обнимает чернобородый купец. Улыбается. Подставляет руки, пригоршню. Черная Борода смотрит непонятливо. Мальчик смеется:

«В руки мне вина плесни!»

Борода возмущенно трясет головою: еще чего выдумал, озорник!.. а только сейчас возносил Богу смиренную молитву!.. – но мальчик продолжает пристально смотреть, и глаза Черной Бороды прилипают к глазам мальчика. Угли в очаге переливаются кроваво, шуршат, резко вспыхивают. «А коли горячего ему сейчас в ладони из котла плесну!» – запальчиво кричит, сидя на корточках и обернув к Иссе и Бороде лохматую голову, тот, кто варит вечернюю похлебку.

Ложка брошена в котел. Черная Борода, неотрывно глядя в глаза мальчика и не глядя на кувшин, льет, льет красное сладкое вино в подставленные руки. Старик на кошме зычно храпит. Розовый Тюрбан резко встает, отдергивает полог па-

латки. За висящими вонючими шкурами – белое вихренье. Белые жуки летят. Белая мука изобильно, страшно сыплется из дырявого сита небесного. Снег.

«Сне-е-е-е-ег!» – кричит мальчик и вскакивает на обе ноги, с вином в пригоршне. Вино капает ему на подол плаща, на сандалии, заливая шипящие угли. Слышен звон колокольчиков. «Караван идет!» – кричит Розовый Тюрбан, голову наружу высовывает. Исса медленно, стараясь не расплескать вино, идет к двери палатки, его нога, обвязанная тонкими ремнями старой сандалии, ступает в россыпь белых гусиных перьев.

Снег. И правда снег. Исса выходит из палатки под снег и ветер, и Розовый Тюрбан жадно, откинув холодной рукою шкуры, следит за ним, а Черная Борода цедит ругань сквозь зубы, а Длинные Космы греет руки над очагом, кладя их в пар, идущий от котла, как в мех адского серого зверя с двумя головами, живущего далеко на севере, в Гиперборее.

Исса – на ветру. Он – на просторе. Он видит: вдали горная цепь, за спиной – тучи, налетающие с близкого моря. Всего три верблюда, о нет, и четвертый поодаль; такой же маленький караван, как и их. Кто они? Ты знаешь, кто эти путники, о Исса. Ты ступаешь к ним ближе, шаг, еще шаг, еще шаг по свежему, мятному снегу, – о, донеси вино, не расплескай.

Красные капли падают на снег. Исса подходит к первому верблюду, животное уже встало на колени, чтобы хозяин мог

свободно сойти на землю. Перед Иссой – старик, снег бороды летит над золотом, медью, изумрудной парчой царских одежд; и на могучем, как шелковый стог, тюрбане – малютка-корона, выкованная из чистого золота. Исса дышит хрипло, я слышу его дыханье. Я слышу дыханье старика-царя.

Откуда сей царский поезд? Куда бредут? Двое спутников важно видят, не слезая с верблюдов, меж мохнатых, изукрашенных самоцветами горбов. Драгоценные камни вплетены в зверью шерсть. От толстых верблюжьих губ пахнет молоком, слюной, солью, ветром. Третий верблюд стоит вдали, словно бы боясь приблизиться к царской свите. Исса, сощурившись, видит: сидящий на нем черен лицом, – эфиоп, а может, туарег, а может, нубиец.

Царь, укутанный в жесткую, как сталь, негнущуюся парчу, делает шаг к мальчику. И мальчик поднимает ладони с налитым в них вином – он донес его, донес! – и выливает, подняв высоко руки, на голову степного чужака-царя, на его корону, на тюрбан, и кровь течет по лбу, и кровь плачет, стекая по щекам, и кровь вспыхивает и горит на сусальном золоте парчи, и царь ловит ее в ладонь и окунает в кровь губы.

«Мальчик мой, – шепчет царь, и я слышу его шепот, – я увидел тебя! Какой ты стал большой и красивый! Мать хорошо кормила тебя. Ты ведь ничем не болеешь? Здоров ты?»

Руки Иссы в винной крови. Он вытирает себе красными ладонями лицо.

«Я здоров, хвала и слава Богу моему».

«Мы идем в пустыню, чтобы там, среди песков, под звездным небом, предать души наши в руки Бога нашего, Царя Царей».

«Хорошо. Идите. Я буду молиться за вас. Мы все будем молиться».

Царь чужой далекой земли приближает лицо свое к лицу Иссы и крепко целует его. И тут же начинают звенеть все до единого колокольцы, привязанные к шеям и хвостам верблюдов, и чернокожий принц, что поодаль сидит на темном как ночь верблюде своем, улыбается, и зубы его вспыхивают ярче белой молнии, озаряя ночь, и снег, и тучи, и двух царей земли – молодого и старого, целующего его.

И горная долина, усыпанная сумасшедшим снегом, слышит громкую песню – это путники поют Иссе хвалу:

«Славься, святой отрок Исса! Славься, поем радость тебе! Легко иди горящими стопами по ледяной земле! Руками горящими лед сердец отогревай! Славься во веки веков, Исса, сияющий Царь, Сын Человеческий! Ты Сын Божий, и колокола бьют тебе, и сисстры и тимпаны звенят, и цимбалы, арфы и наблы музыку к звездам возносят! Радуйся, Исса великий, ты увидел тех, кто у колыбели твоей пел зимнюю песню тебе! И вот снова зима, и прощальную песню поем! Иди в далекий, великий путь! Путник ты, Исса, и вечно путешествие твое! Не остановишься никогда! Ноги по земле ступают, ноги по небу летят! Ангел с тобою в дороге, слава, слава, слава

тебе!»

Я услышал, как цари далеких земель запели про меня, и по моей незримой спине побежал невидимый пот, крупные капли; и закапал тот соленый пот на землю, снег прожигая, и капли попали на лицо Иссы, на ладонь Золотого Царя и на ноздри верблюда. Верблюд повел ушами, яростно завертел хвостом, копнул ногою наметенный снег – и, оттопырив губу, плюнул в сторону юрты! И попал слюною в нос хитрого дозорного, Розового Тюрбана, что башку круглую, атласную, розовую как лотос, выставил в ночь, ветер и снег, чудеса наблюдая!

А они, все пятеро, пели: пел Исса во все горло, весело и заливисто; пел Золотой Царь, дрожащим, надтреснутым, как старый кувшин, ветхим голосом; пели два чужедальних царя, восседающих на двугорбых и смирных верблюдах; пел, и голос доносился издали сквозь белохвостую метель, чернокожий принц, и я, Ангел Господень, один знал его имя: его звали Таор, принц Мангалурский, и родом он был из Южной Индии, из Джаггернаута, из земли Ориссы. Потому и кожа его черна была и гладка, как смоляное варево для лютой степной казни, когда в горло бедняге льют расплавленную смолу; как у священного Бога Вьясы-Кришны, кожа лица, рук и всего тела была у него, и на лбу у него сиял крупный, величиной с лягушку, изумруд, а под горлом, в яремной ямке, – огромный кровавый рубин, цвета свадебного сладкого

вина.

И пели так они, слаженно, громко:

*– Ангел в небесах, славься!
Крылатый дух бесплотный, славься!
Всякий человек одинок,
И если нет жены – Ангелу молись!*

*Ангел укроет овечьей попоной,
Ангел укроет чистым снегом.
Ангел укроет черной землей,
Да только не сегодня, не сейчас!*

*За спиной моей летит Ангел,
Над головой моей летит Ангел!
Ангел, благослови Царя на любовь!
Ангел, благослови!*

*Возьми, Ангел, сладкий изюм,
Возьми, Счастливей, игрушку на нитке!
Ты, мой Ангел, ты небесный ребенок,
И хочешь ты играть и смеяться!*

*Возьми, Любимый, наши подарки,
Возьми, Радостный, наши жизни!
Смерть не сейчас, не сегодня,
Смерть еще за поворотом,
А за нею – чистое небо!*

Так пели они все! Колокольцы звенели! Снег летел и дымился во мраке! Очаг догорал!

Золотой Царь высыпал Иссе в ладонь изюм. Мой господин поднял ладонь к небу: мне, мне синий изюм протягивал!

«Ужин остыл! – беспомощно, жалко крикнул из палатки в святую ночь Розовый Тюрбан. – А вы все поете!»

Да, они все пели, и, счастливое, светилось храмовой свечою в ночи лицо Иссы, и холод налетал черными тучами с севера, и знал я, Ангел Господень: еще долгий путь в снегах и раскаленных песках ждет, еще тысячу раз скажется торопливая, пылкая молитва, еще сто тысяч раз полетит стрелой, острым гибельным камнем проклятье тому, кто несет под ребрами, под ветхой одеждой дорожной – любовь.

В того, кто несет любовь, всегда бросают камни. Звоните, колокольцы. Мотайте башками, верблюды. Мы готовим ужин в путевой палатке на полдороге между Иерусалимом и Дамаском, а с небес идет снег, и вдали – тайга, и за хребтом – соболя спят в дуплах могучих, как столбы храма Иерусалимского, железных кедров, и никакие врачи и палачи тебя уже не поймают, святой мой мальчик, не изувечат, и волки, поджимая хвосты, подходят к пустому зимовью, и далеко, далеко еще Святое Озеро, Синий Глаз Земли, холодно и одиноко глядящий в черное звездное небо.

Путешествие Иссы. Иркутский вокзал

Холщовый плащ бил по ногам. Это зипун был века назад? Он не помнил. Кто купил, когда, надел ли на плечи из жалости.

Бежал, чуть под трамвай не попал. Услышал резкий, пронзительный звон, будто ребенок грудной, в помойку брошенный, крикнул. Хотел в трамвай впрыгнуть – поскользнулся, на рельсах растянулся. Добрые люди подбежали, под руки подхватили, выволокли из-под колес, из-под визга смерти.

Улыбнулся им:

– Спасибо, родные. Умер бы, не жалко.

– Дык уж пошти шта помер! Колеса-ти уж возля шеи вижжали! – крикнула баба, его руку на снег брезгливо швыряя. А другую руку бросил мужик, что из-под гремящей, как бубен, железной повозки его тащил, и только выдохнул:

– Э-э-э-э-эх!..

Так и брел пешком. Озирался. Шапку волчью на макушке поправлял. Эх, думал, вот странно-то – сам иду в плаще, по пяткам холстина бьет, а на башке шапка мужичья; несоответствие это. Морозец-то слабенький сегодня. А ну ее! Сорвал. Далеко в сугроб зашвырнул. Галки, вороны слетелись, думали – еда. Клюют шапку, а это ж мех старый, повывлез-

ший, в дырках мездра! Волосы, освобожденные, ветер зацеловал.

– Эх, птички, птички, галочки-скакалочки... голодно вам зимой. И мне – тоже!

Пораздумал. Вернулся. Шапку из сугроба вынул. Опять напялил.

– А вдруг мороз завернет? Уши деревянные... щеки оловянные...

Ноги сами принесли на вокзал. Старинный дом, будто вдовый; будто – графские развалины. Будто бы шкатулка была палехская, расписная, а солдат наступил сапогом, расстрелял из пистолета. Война есть война. На войне никто никого не щадит. Рядом, на путях, громыхали поезда, стальные мешки, набитые не картошкой, а булыжниками.

– Люди, вы не булыжники! Люди... люди...

На миг слепо вообразил: опять на рельсы падает, и голову его колесо бешено мчащегося поезда отрезает быстро и весело, как кухонный тесак – голову вяленой рыбы.

– Нет уж, нет уж... Такой смерти – не надо...

Осторожно, боязливо в вокзал вошел. Бросилось в глаза: скамьи ожидальные, грязи полно, и чистое синее небо, как вода, плещет в распахнутых в зиму дверях, а на самой дальней скамейке – скрючилась в три погибели, сидит-спит старуха. Вся платками многими обвязана, чисто капуста! Голос гудит над головами, бьется под сводами, будто вечная дорожная служба в путевом храме идет:

– Поезд Москва – Владивосток прибывает на третий путь!

Поезд Москва – Владивосток...

Озирался. Решил к мохнатой этой, в тысяче платков, старухе подгрести. Она-то уж точно подскажет, как Иссе дальше идти!

Плащ развевался весело, когда к старухе приближался. Каменные грязные вокзальные плиты царским мрамором ложились под босые ноги. Это всем только кажется, что он в валенках! Он идет босиком, и это как по воздуху, по облакам!

Подошел. Холодным кулаком в плечо бабку толкнул. Она подняла голову, очнулась от дремы, и Исса увидел: не бабка, а девчонка!

– О-ей, девчонка... Эх ты, и правда девка... Ты извини...

Хотел отойти. Девка сбросила резким, грубым жестом сразу все платки с головы, и на волю выпрыгнули, вылились на цигейковый воротник шубейки рыжие, мелкокудрявые волосы. Усмехнулась, и он увидел, что во рту у нее многих зубов недостает: и спереди, и снизу.

Беззубый рот смеялся, а она была еще молодая. Очень молодая. Может, даже младше его, юноши Иссы.

Хотел уйти. Повернулся. Не мог смотреть на пустой оскал. Девка ловко, будто рыбу в ручье ловила, цапнула его за голую, без голицы, руку.

– Эй! Чо те надо?! Чо разбудил?!

Встала; грудь выпятила. Живот от крошек отряхнула. Видно, недавно сухарь грызла, в крошках вся шубейка. Вок-

зальный голубь приبلудный, увидя хлебные крохи, слетел из-под потолка, где капустными кочанами торчали страшные зеленые плафоны.

– Разбудил, а теперь на попятную?! Не-е-е-ет, ты уж садись, голубок! Садись, садись, не бойся! Не съем! – Подумала миг. – А может, и съем!

Сел. Рассматривал ее. Руки с ногтями обгрызенными. На пальцах бородавки. На щеке, он подумал сначала, чернильное, школьное пятно; потом разглядел – родимое, густо-лиловое. Потом еще сощурился, покраснел: эх, да ведь это того... засос...

Губы оттопыренные наружу, толстые, пухлые, влажные; смеются нагло; глазенки маленькие, да горят огоньками, как гирлянды на елке, – вон, вон она, елка вокзальная, а, ну да, декабрь, Новый год скоро. Морозы грянут! А Байкал, верно, еще не встал. Нет еще на нем льда.

Дед Мороз под елкой тупо, деревянно взмахивал резиновой, автоматической рукой, и смешная, шарманочная заморская музыка занудно играла, хрипло разливалась в вокзальном ярмарочном зале дешевым, паленым вином.

Глядел на девку, а девка во все глазенки-лампочки нахально глядела на него.

– Ты ваще кто? – спросила и острым кошачьим клыком, нервно, куснула ноготь. – Чо тут бродишь? Своровать ка-во-то хочешь? У меня лично ничо нет. Ну вот нет ничо, и все!

Жрала, грызла его глазами, как сушку, пряник, сухарь. Размачивала языком, сладкой слюной. Крошила жесткой, острой, ножевой улыбкой.

– Я не вор. Никогда вором не был.

– Ну уж вижу! Дерьмо ты такое!

– Не обижай меня, – вышептал горько, слабо.

– Как звать-то ты, человечек? – выцедила, сплюнула. Пошарила в кармане, выволокла пачку папирос. – У тебя огонька-то нет?

Потрясла перед его носом папиросой. На колени ей, на подол шубейки сыпался из папиросины мелкий желтый, вонючий табак.

– Нет огонька, – развел руками. – Звать меня Исса.

– Как, как?! О-хо-хо-ха-ха! Писса?! А-ха-ха! Может, давай лучше... Писька?!.. у-ха-ха-ха!..

– Нет, – тихо и твердо, и терпеливо, и ласково сказал он, и повторил, желая втолковать: – Исса. Я Исса. Это имя такое. Имя.

Девка затихла, с любопытством, исподлобья, как бычок, рассматривая его. Потом вздохнула:

– Ну черт с тобой. Исса, на хрен. Понадают имечек маманьки. Я вот – хорошо!.. плод высрала – и выкинула на хрен в мусорник! Ну, в контейнер! Мне плевать. Подберут – подберут! Помрет – значит, туда и дорога! Еще и называть! Еще и кормить! Чем кормить-то б я стала, скажи?!

Он не мог ничего сказать. Молчал. Сидел перед нею, как

подозреваемый перед судьей. Видел, как лицо ее вдруг стало масляным, преображенно-умильным, из грубого и нагло-го – нежным и тонким, заманивающим. Даже беззубая, дикая и горькая улыбка помстилась ему сладкой, виноградной, мятной. За стенами вокзального дворца глухо и торжественно грохотали поезда. Иногда они тягуче, тоскливо гудели, будто жаловались; будто корова ревела в стойле одна, без быка. И теленочка на убой увезли, на зимний рынок.

– Ты, это, Исса! – Рыжая голова вся внезапно осветилась, осиялась будто неземным светом – это мимо вокзальных окон по первому пути медленно, призрачно проехал тепловоз и хищными фарами выхватил из тьмы девкино веснушчатое, голодное лицо с чернильным пятном на щеке. – Ты это, при бабле чувак? Знаешь что! Идем со мной!

– Куда идем? – спросил он и закрыл глаза, и с закрытыми глазами вся жизнь во тьме светлой молнией выблеснула. Потом опять открыл. Мир был все тот же, а он был иной. – У меня свой путь.

– Брешешь, паря! – выкрикнула девка и сделала из трех пальцев увесистую фигу. – Меня встренул – значит, никакого твоего пути уже нет! А есть только наш совместный!

Дико, будто давилась хлебом или костью, захохотала, и что-то перекатывалось у нее в горле, звенело железом о железо, хлюпало, квакало. Она раздавила папиросу в детских пальцах, и он глядел, как медленно падают на солдатский мрамор вокзальных плит искрошенные в пыль табачные ли-

стья.

– А тебя-то как зовут?

– Меня-то? Манька. Манька с мыльного завода!

Он погладил ее по искусанной, исцарапанной, в синяках, руке. Она дернулась, как под током. Приблизила к нему лицо, и он услышал странный, ладанный тонкий запах, исходящий от ее волос, от цигейки воротника.

– Ты... Исса или как там тебя. Ну, перепихнемся. Я недо-рого беру. Всего пейсят. Ну это ж копьё. Нет проблем! Да-вай, валим... ну пейсят-то у тебя ж всяко-разно есть... ва-лим на пути, там товарняк давно стоит... я там принорови-лась... там солома внутри, мешки всякие... удобно, е...

Встала, схватила его за руку – крепко, не вырвешься. Он поправил на груди кожаный мешочек с россыпями нефри-та, с мелкой росой янтаря. Тащит куда-то, и сильно, будто лошадь – плуг! Он нащупал ремень на плече: поклажа его с ним, все в порядке. Они оба, взявшись за руки, как де-ти, пробежали через весь зал, где кто спал, кто тоскливо пя-лился в морозное окно, кто играл в карты, кто жевал сало со ржаным хлебом; а кто-то и железнодорожную курицу ел и закусывал соленым помидором; а кто-то и водочку втихаря хлебал из горла, согревался, даром что потеплело, да к ночи опять может колотун завернуть.

Сибирь все ж таки, ядрена вошь. Не Сирия.

Они вылетели, две железных стрекозы, на грязный при-вокзальный снег, и девка ловко, увертливо поволокла Иссу

сначала вдоль фешенебельных, синих и гладких, как дельфины, намытых-начищенных вагонов, потом наклонилась, больно ударила его по спине: нагнись, мол, тоже! – и под вагоном юрко проползла, как ласка; извернулась, протянула ему руку, будто вытаскивая его из проруби. Из иордани.

– Чо копаешься! И со мной так же будешь ковыряться?! Ну-у-у, старичо-о-о-ок...

Сгибались, и ныряли, разгибались и бежали опять. Девка сновала среди вагонов как челнок, она была тут своя. Внезапно врылась ногами в снег – перед распахнутой деревянной дверью сколоченного из черных досок товарного вагонички.

– Лезь! – прошипела. Захохотала хрипло, грудь под платками студнем затряслась. – Прибыли!

Он влез первым, она за ним. Грубо вздернула подол пальтишка и выцветший ветхий салат юбки. Платки упали на затянутый льдом и заваленный рубленой соломой пол вагона.

– Давай, жми, паря, – прохрипела, как пропела. Так стояла – с вывернутыми листьями юбок, с голым животом, с приспущенными с ног дырявыми колготками. – Чо пялился? Действуй!

Исса стоял и глядел ей не на живот – ей в глаза. Девка придвинулась ближе, обдала его табачным дыханьем и низко, басом выдавила:

– У тя чо, денег ваще нет? Чо зыришь? Или – не стоит?

Он положил руку Маньке на плечо. Одну. Потом поло-

жил другую. Тяжелую. Обе его руки, как чугунные рельсины, придавили книзу Манькины плечи. Ее лицо, бледное, с обмороженными, видать, много раз щеками, обсыпанное разбрызганной грязью веснушек, напомнило ему старый чайник с отбитым носиком, в нем заваривал он китайский чай в доме, откуда сегодня ушел навсегда.

– Ты чо?..

Он приблизил лицо свое к Манькиному лицу. Она думала, он ее поцелует. А он выдохнул из губ своих кроху теплого воздуха, и она долетела до ее губ – и тихо, печально их обласкала. А потом он отпрянул. И опять смотрел. И так стояли.

– О-о-о-о-о... – сказала девка. Личико ее сморщилось, как гармошка, и Исса понял – она сейчас заплачет.

И она заплакала. Легкие слезы лились. Губы втягивали золотую, теплую соль. Губы шептали сначала, а потом молчали. Исса вытер большим пальцем светлую влагу с ее рта, с подбородка, с пестрого яйца голодной скулы.

– Есть хочешь? У меня вяленый омуль в мешке.

– Хочу! – шепотом крикнула Манька.

Он сильнее надавил ей кулаками на плечи, и девка села на солому. Исса сел рядом. Скинул с плеч котомку. Нашарил рыбину, вынул за хвост. Девка громко втянула слюну.

– О-о, – изумленно возвел он глаза на Маньку, пускающую слюни, – да тут у меня... ого!.. откуда?..

Рука, трясясь, вытянула из мешка круг ржаного; кус масла, завернутого в вощеную бумагу; шмат сала; еще поискала

на дне котомы – и вытащила алый огонь крепких, упругих соленых помидорин вперемешку с нефритовой зеленью соленых огурцов; еще пошукала – и вынула последнее, главное чудо – бутылку!

– Водка «Сто-лич-на-я», – прочитала девка по складам, как в первом классе. – Ну ты и мужик! Класс! А чо ж говном прикидывался! Вижу, вижу жопу рыжу! Не промах! Погуляем?!

Подмигнула ему, наблюдая так много прекрасной, как сказка, еды. Исса сгреб всю пищу у себя с колен и переложил на колени Маньке. Так сидела она, обхватив руками яства, держа их у груди, как живые. Рот ее смеялся, а слезы по лицу маслом лились. Исса поймал слезинку на ее щеке губами, и девка ойкнула. Он взял бутылку и зубами оторвал жестяную затычку. Глотнул сначала сам. Девке протянул.

– Угощайся, Манька...

Девка вздернула бутылку кверху дном, задрала рыжую голову, наклонила над сложенным в трубочку жадным ртом стеклянное горлышко. Хлебала живую ледяную ртуть крупно, жадно, со знанием дела, как мужик. Исса считал глотки: раз... два... три! Засмеялся.

– Запьянеешь!

– Не, ты чо? Я ж задрогла до костей! – Кровь помидорины всосала, втянула. Развернула сало, впилась в него зубами, как соболев в добычу. Исса поднатужился и разломил надвое хлебный круг. Глазенки-свечки девки горели, искрились.

– Эх, хорошо!

– Да, хорошо...

Они вместе ели, в промерзлом товарном вагоне, на соломе сидя, чудесную пищу земную; а может, две ледяные стрекозы человечьи, в небесах уже летели. Так хорошо, сладко было им.

Девка пила водку, жевала сало, а Исса хотел нащупать в мешке нож свой – и разрезать соленую древнюю рыбу, но сила, сильнее его, остановила его. Он глядел на стального от мороза, сабельно-стройного омуля, разлегшегося на коленях у Маньки вольготно и нагло, блестя то старым серебром, то церковным золотом, и восторженный страх заползал внутрь него, под ходуном ходящие ребра.

«Оставить рыбу эту жить. Зачем? Она и так мертва. Оставить! Она священна. Она...»

Пробормотал себе под нос, и сам не услышал себя: «Она поведет меня. Укажет мне Путь».

Манька сделала большой глоток, как удав, с жадной силой в себя ком пищи протолкнула – и взмахнула руками, будто ловила сорванное ветром с веревки белье:

– Ах ты, красотища! Оно ж и лучше, чем это... это...

Хотела непотребство выкричать, да смолчала.

И вдруг, непонятно, с силой запела, и голос был не противный, приятный, хоть и с табачной хрипотцой, с простудным присвистом:

*– Я девчонка-красотка,
Я в Сибири живу!
Хлеб да водка-селедка —
И держусь на плаву!*

*Ах вы, дикие горы,
Ах ты, мама-тайга!
Я любовница вора,
Костяная нога!*

*Мы по разику-разу,
А потом по второй...
Нету правого глаза —
А зато есть другой!*

*Под телячьим вагоном
Ночью воют волки...
А протез мой картонный —
Вместо левой руки!*

*Ах вы, лютые горы!
Я накрою на стол!
Я любовница вора —
С пятой ходки пришел...*

И сама себя оборвала, заголосила по-другому, мелко, визгливо, разухабисто, яростно, чуть не плюясь, вот-вот вскочит да запляшет:

– Во все стороны тайга!

Во все стороны пурга!

Я марушка боевая,

Хоть не выше сапога... а-а-а-а!

– А ты это, что... – тихо спросил Исса и осторожно коснулся ее локтя, и едва тайком, из любопытства, руку не пощупал, – у тебя, что, рука и правда картонная? И нога – костяная?

Девка округлила глаза, бросила петь, отломила ржаного, откусила сала. Помотала головой, как собака, отгоняющая блох.

– Чо, всему на слово сразу веришь?! Ну ты даешь...

Он хотел сказать: «Не верю», – а вместо этого улыбнулся и тихо выдохнул:

– Верю.

Манька прижала ладони к жующему рту и затряслась вся, забулькала, закачалась: это она так хохотала.

– А ты, – с набитым ртом, сипло дыша забитым простудой носом, прогудела Манька, – ваще куда пресся-то? Бомж ты с виду! А в гондоне у тя – классная жрачка, однако! Чо, омулька-то бум? Или не бум?

И он услышал голос свой опять будто сверху, с небес, со стороны, из-под дощатого потолка конского вагона:

– Я пустился в далекий путь, чтобы встретиться с великим Буддой, носителем мудрости.

– Еп твою ж мать! – проямлила девка и на миг прекра-

тила жевать. – С кем, с кем?! С будой?! С будом?! Ах ты ж черт ты лысый! Ты знаешь чо?! Это слово... буд... ха, ха, ха!.. по-чеченски значит – пизда! Вот чо! Ах-ха!

– Ты чеченка? – тихо спросил.

– Я-то? А пес меня знает! Не, я гуранка! Козлиха сибирская, местная, ваще! А с чичом я с одним тут перепихнулась! Так он меня трясет... и все вопит: буд, бу-у-у-уд! Я думала, е-о, в вокзале будет слышать! Так орал! Ну, с рыбкой-то чо? Взрежем?

И тут за распахнутой в сизый иней и дрожь куржака дверью послышалось детское, слезное:

– Мама-а-а-а! Мама-а-а-а!

Девка глянула кругло, растерянно. Исса встал с соломы, выглянул в холод и железные ущелья мертво стоящих на приколе поездов. Далеко, через два или три пути, сдвинулся, гугукнул, пошел, набирая скорость, лязгая стальными скелетами колес, поезд. Рядом с вагоном, где трапезничали Исса и Манька, стоял мальчик, хорошо и странно одетый. Он держал в руках костяную шкатулку. Он плакал тихо и тонко, канючил, уже без слез – слезы все кончились, а может, застыли на морозе под веками: «Мама-а-а-а! Мама-а-а-а!»

– Е-о, – Манька воззрилась на дивную картину, – это чудище еще откудава?! Только детского сада не хватало!

Исса спрыгнул из вагона на снег. Рельсина блеснула, как бок его святого омуля.

– Ты кто?

– Я потерялся-а-а-а! Я потерялся-а-а-а!

Исса видел: мальчик дрожит всем телом под темно-вишневым бархатным кафтанчиком, а кафтанчик надет на тонкое, длинное, из хорошего мягкого драпа, почти девчоночье пальтецо; оно бьет его по пяткам; а на голове у мальчонки бархатный берет, и он расшит крупным розовым жемчугом, да брось ты, наверняка стразами поддельными. Как крепко, отчаянно прижимает он к себе костяную шкатулку! Может, там деньги? Золото, может?

...или – бабочка высохшая, тропическая, коллекционная, густо-синяя, как небо над морем. Цвета Великого Озера, куда его путь неведомый лежит.

Он положил руку мальчику на голову, и бархат беретца под его пальцами, пахнувшими водкой и салом, заструился, разгорелся костром.

– Найдем мы твою маму. – Пересохло в пьяном горле. – Откуда ехали вы? Это город Иркутск. А вы на каком поезде ехали? Уехала мать? Без тебя? Ты... погулять вышел?

– Дай, пацанчик, шкатулочку сюда-а-а-а! – вкрадчиво, лисой запела Манька, наполовину высунувшись из вагона, протягивая к мальчонке жадные руки, пальцами пошевеливая, соблазняя. – Я пока подержу-у-у-у!

– Это не шкатулочка. – Мальчик слегка приподнял круглый костяной ящичек. – Это черепаха! Моя!

Исса глядел на мальчика, на черепаху, на подводное мерцанье розового, безумного жемчуга, рассыпанного по швам

багряного мягкого берета. Лицо у мальчика светилось бумажным елочным фонариком – нежно, изнутри. Носик кнопкой. Ротик куриной попочкой. Маленький весь, и черепашка маленькая! Оба маленькие, а жизнь... тоже ведь маленькая... «Может, ты не мальчик, а старичок? Тогда кто же я?»

– Черепаха?..

– Черепаха! – сквозь неутешные слезы подтвердил бархатный малютка. – Моя-а-а-а!

Манька копной вывалилась на снег. Втянула вокзальную гарь сопливым носом. Шагнула к мальчику с черепахой.

– Чо мяукаешь?! А еще мужик! Черепаха, вишь ли! Дай сюда!

Она выбросила вперед руки, ухватилась за спящую черепаху и резко рванула ее к себе. Мальчик завопил, захныкал: «А-а-а-а! А-а-а-а!» – вцепился изо всех силенок, не выпускал родного зверя своего. Мать потерял, так хоть черепаха осталась! Она и станет ему матерью! Манька орала, мальчонка визжал, они рвали друг у друга из рук несчастную черепаху, Исса стоял над ними недвижно, как вокзальный фонарный столб, и тут из-под вагона соседнего состава, казалось, такого мертвого, такого гробового, выметнулись два, три, о, уже четыре человека в синей форме, и две собаки бегут перед ними, ярятся, тянут поводки, ошейники душат хрипло лающие горла и пушистые загривки, и дергают люди из кобуры табельное оружие, и подбегают все ближе, а один – вот

неуклюжий медведь! – падает на снег и ползет к ним по снегу, как лазутчик военный!

– Е-о! – ослепительно визгнула Манька. Выпустила черепаху. Оттолкнула от себя мальчика, и он упал в испятнанный мазутом снег, пачкая красивенький бархатный кафтан. – Вот те и черепаха!

Мальчик лежал на снегу, глядел круглыми, покорными глазами юной нерпы. Черепаха лежала рядом с ним, как мертвая. На самом деле она была живая, просто спала. Манька заслонила руку от бегущих к ней людей, будто ей в глаза ударил мощный сноп белого, допросного света. Собаки лаяли на Маньку оглушительно. Рвались к ней. Вцепиться зубами ей в ляжку хотели. А может, и в глотку.

– Менты-и-и-и-и!

Тот, кто первым к ним бежал, наставил на Маньку пистолет. Прямо в лицо ей.

– Стоя-а-а-ать! Нашли-и-и-и! Она-а-а-а!

Манька развернулась, как боксер, и сильно, больно толкнула в плечо, в грудь Иссе обоими кулаками.

– Исса! Беги!

Мальчик перевернулся со спины на живот и накрыл телом, животом любимую черепаху. Состав, стоявший рядом на путях, тронулся. Прогрохотали мимо вагоны. Освободился путь. Ножево, омулево горели под морозным Солнцем рельсы. Пустые рельсы. Чистые рельсы.

– Беги, Манька!

Она побежала. Она бежала вдоль рыбин-рельсов, убежала, а эти начали стрелять. Хлоп! Хлоп! Сухо щелкал челюстями смерти чистый и светлый морозный воздух. Хлоп! Мимо! Эх, Манька, многоножка-тараканька! Беги, не догонят! Жаль, сальце не доела! Все всегда на свете белом жаль!

Грохот накатил, надвинулся ниоткуда, будто изнутри земли. Грохот придвинулся незаметно, оттуда, откуда никто не ждал. Заглушил захлебный лай овчарок. Не учуяли грохота. Не увидели тьмы. Запоздалый, предостерегающий крик чуть не разорвал ему молчащее горло: «Маня-а-а! Наза-а-ад!» – когда Манька, пытаясь перебежать пути, перепрыгнуть козой через рельсы, зацепилась носком разношенного, каши просил, верно, со свалки, сапога своего за белую молнию рельса – и упала на рельсы животом, плашмя, и заорала от ужаса, а поезд уже накатывал, мчался, и нельзя было толкнуть его в фары, в грудь, в железную морду двумя бесильными кулаками.

Исса видел, как колеса переехали Маньку, перерезали ее пополам. Смерть прогрохотала, и он увидел ту половину, где недавно было Манькино живое лицо, руки, хватавшие перченое сало, рот, что жадно кусал алый терпкий помидор. Он смотрел на вздрагивающую плоть и на живую еще кровь. Кровь. Помидор. Флаг. Костер. Красный бархат кафтана; багряный бархат берета; розовый, бешеный, бегущий краем пропасти, живой жемчуг. Манькины ноги елозили по земле, они бежали, еще бежали. Вздрагивали. Уродливо вытягива-

лись. Мальчик лежал животом на своей милой, родной черепахе, и он тоже видел разрезанную надвое тетю, и язык у него отнялся от страха и тошноты. Мальчика бурно вырвало на черный снег. Он лежал на снегу и корчился в приступах неодолимой рвоты.

Не смотри, – сказал ему Исса тихо. Стрелявшие в Маньку люди заталкивали оружие обратно в кожаные чехлы. На их лицах застыли ненависть, недоумение, отвращение.

– Что она сделала вам? – тихо, нежно и печально спросил Исса людей.

– Она убила человека! Шесть часов назад! Переспала с ним, убила и ограбила! – злобно выпалил синий милиционер, молодой совсем парень. Овчарка взлаяла хрипло раз, другой. – И вас бы вот тоже! Перестань, Манька! Фу! Сидеть! Чей ребенок?!

– Мой ребенок, – сказал Исса, наклонился и поднял мальчика, под мышки ухватив, с черной наледи.

– Чо так одеваете ребенка! Как на маскарад!

Парень в синей форме поглядел на расшитый жемчугами берет, потом на босые ноги Иссы. К босым, загорелым ступням Иссы бежала, прожигая снег, наледь и наст, темная Манькина кровь. Кровь выжигала в снегу глубокие, змеиные трещины.

– Сам-то в катанках подшитых ходит! А дитенок в шапчонке тряпочной щеголяет! Тьфу! Бога благодари, мужик, что жить остался! Мы ее давно уж ловим! Да вот... судьба

сама поймала!

Люди в мертвецки синей, казенной одежде побежали прочь, опять вдоль рельсов. Собаки снова натянули поводки. Две половины Маньки перестали вздрагивать. Не будешь ты отныне, светлых небес царица, носить собачье имя. Солнце сверкало царем на коронации. Забивало белые гвозди в живое, рыдающее горло. Исса вытер мальчику рот своею ладонью. Снял с себя холщовый плащ, ухватился за капюшон, не раз спасавший его от пустынной жары, и резко оторвал его, и хрустели, разрываясь, древние нити. Надел капюшон на голову мальчика, на кровавый берет.

– Вот. Тебе теперь не холодно будет.

– Дядя, а ты правда мой папа? – спросил мальчик, глубже насовывая на голову старую волчью ушанку. – У меня мама актриса! У меня уже пап было много! Ты – новый!

Повернулся Исса. Пошагал прочь от мальчика с черепахой, от людей с пистолетами, от сладкого запаха крови. Мороз обжигал голову. Будто водку на голову выливали. Он отдал мальчику шапку, а надо было жизнь отдать.

Дневник Иссы. Дамаск и Пальмира

палимпсест

*писано на арамейском языке поверх греческого текста
койнэ*

*Мати Света, тихая Мати! Там, где три бога, (там) бо-
ги. Там, где два или один, (Ты) с ним. Многие (стоят) перед
вратами; но единственные войдут в Брачный Чертог.*

Тихая Мати, прими!

*Сделай двоих одним. Внутреннее (как) внешнее. Верхнее
сделай как нижнее. Мужчину и женщину сделай (одним).
Пресуществи мужчину в мужчину и женщину, а женщину –
в женщину и мужчину. Сделай ГЛАЗ вместо глаза. РУКУ
(вместо) руки. НОГУ вместо (ноги). ОБРАЗ вместо образа.
И, зрячего, идущего, (обретшего) Свет, за руку мою (введи)
меня в Царствие.*

Мати Света! Тихая Мати.

...сегодня Дамаск. Крыши...

*...дошли. Вода – верблюду песня. Тихий воздух. Хлебы,
на Солнце сушеные. Мешки...*

Иные идут праведно. Иные вязнут во грехе.

*...и тайны Мира Иного. Нахожусь (среди) живых во об-
разе ребенка.*

...палатки. Купцы вышли под звезды, вознести молитву. Хотел (вместе с) ними вознести. Крыши (Дамаска) ладонями к небу (вздыхались). Дышал тяжело. Воздух полон звона гор.

...звезд звона. Иду на Восток, я ребенок, хочу увидеть живого боевого слона. Отдыхаем (в виду) Дамаска. Хочу купить кинжал из твердой стали: зачем он? Хочу вступить (в беседу) с купцами – (они) сидят в благочестивом внимании и слушают (меня). И один говорю. И одинок.

Нынче стояла большая жара, и от жара (лопнула кожа) у меня на пятках, и стало больно идти. И сел на верблюда. Животное (снизошло) до меня. Мы почитаем зверей ниже себя, но может быть так, что они не ниже, а выше нас.

...Дамаске. Улицы полны красивых женщин и бедных, нищих стариков. Скоро умрут (старика). А красавица будет наряжаться, пока красива.

Жители Дамаска едят длинные плоские (похожие) на рыб лепешки. Напоминают иудейский хлеб. Мягче. Шел по улице и видел: в ряд сидят дети, юноши, зрелые мужи, (женщины) и старцы, и все ломают хлеб (между) пальцев и вкушают в молчании. Подошел к ним и обратился: ЛЮДИ! ВКУШАЕТЕ ХЛЕБ ВАШ! ХЛЕБ МУДРОСТИ (ВКУСИТЕ) СКОРО!

Я стал смеяться и смеялся долго. И спросили меня старцы: Чему смеешься, мальчик? Слишком (молод) ты, чтобы

над старостью смеяться! Ответил: Не над старостью вашей (смеюсь). От радости (смеюсь), что вы еще не знаете, но узнаете (меня).

Тогда женщины (сказали): Отведай с нами хлеба нашего! И взял я из рук дамасских женщин (хлеб), и ел его.

И продолжал смеяться.

...юноши: Видим, что (чужой) ты! Чужого (нам) не надо!

Ответил: Я иду своим путем.

...дети (спросили): Болят у путника ноги? Они почувствовали на стопах моих трещины мои. Я сел и вытянул (ноги) перед ними. Дети принесли теплой воды в тазу и (омыли) мне ноги. Возрадовался. Исчезла боль. И сказал: Иду на Восток, ибо надлежит мне (свидеться с) Великими Мудрецами, живущими на восходе Солнца! (Спросили) дети: Так будешь ли прославлен? (Снова) засмеялся. Ответил: Когда Жених выйдет из Чертога Брачного, тогда пусть (они) постятся и пусть молятся!

...это поток. Вышний Владыка – (это) река. Вышний Царь – (это) море; омывает ноги (ваши) внизу, а небо целокупно (отражается в) нем.

...из Дамаска в Пальмиру. Роскошь города Великого Сифа! (Они) говорят мне: Ты сын Господа Бога нашего. (На что) говорю: купцы, речи мои слушали ли внимательно? Отвечают: (Вознесем тебе) благодарственную песнь! Смеются (их губы), розовеют на солнце их лица. Говорю: Никому

из тех, кто живет (здесь и сейчас), не дано (узнать) в лицо меня.

...узнает?

...обнял его, и с головы его скатился розовый (тюрбан? шерстяной платок?). Говорит: ты с нами в виде ребенка, а может, ты не (Вышний), а колдун? Вылечил захворавшего верблюда, а (хотели) прибить скотину.

...постиг солнечный (удар), и его вылечил. А (отправлялся) к праотцам.

...смеялись (сначала, потом) стали впадать в ярость и в (гнев). Вскочили и хотели бить (палками). Встал. Руки раскинул и стал похож видом на (крест). Не буду есть вашу еду! – сказал. Пока вы не поймете, что (Тот), Кто внутри вас, руководит вами! Если внутри вас (Вышний) – разве подобает вам бить и убивать? Подобает ли кричать по-скотьи, (визжать) как свиньи? Человек (сошел) с неба. Его же (принижают) все время. Помните: вы не земляная персть. Ваше жилище над вами, в (мире горнем).

...тогда они (закричали): Покажи, где жилище наше! Введи нас (туда)!

...не могу. Ибо не (Вышний) поселил гнев и ужас под ребрами вашими. А тот, с кем и я (сражаюсь). Вдохните глубже воздух, а потом отдайте дыхание. Пусть оно выйдет (вон). Очиститесь. Пусть первый, кто усмирит (...) в себе, станет напротив меня и скажет мне: Вот я, брат мой!

Прости, люблю (тебя)!

...и (встал) передо мной. И сказал: Прости! Люблю!

...обнял его. Увидел: в черной бороде его блестели (слезы).

И я (заплакал) вместе с ним от (...).

...(остальные) отвернулись. И сказал: Все сильны лишь слабостью своею, и никогда не отворачивает от (брата) своего лицо свое. И, плача, он все равно отвернул от (меня) лицо (свое). И сказал: Роскошь златого града Пальмиры превосходит все, виденное мною доселе! Но все сокровища (града сего не отдам за) один взгляд твой, брат мой, глаза (в глаза).

...плача, поглядел мне (в глаза). И поглядел ему (в глаза).

...глядели друг на друга.

...(глаза) глубже тысячи морей, глубже тысячи тысяч гладко обточенных (...), смарагдов и (...). Ярче хризопразовой (колонны) храма Соломона сияли (глаза) его! И сказал ему: Брат мой, понял ты, любовь правит миром?

...(но) смеялись, хоть и кивали (головами).

Ангел Господень глаголет: испытание Огнем

Нынче подошли путники совсем близко к Дамаску, его же жители пустынь именуют Дамашк. Благословенный град аш-Шам, сиречь Дамаск, воссиял из гор и марева пустыни, земной Эдем!

Мой господин, нежный мой мальчик! Не знаешь, что разбили купцы твои палатку свою близ деревеньки Бейт-Ла-хья, где жила праматерь Хева. Я знаю, я.

У Хевы был красивый сад; она разбила его в память об Эдеме, откуда изгнана была вместе с мужем своим, грешным Адамом. Красные яблоки прятались в темно-зеленой, мрачной листве. Пылали померанцы скифским золотом. Сладкие сливы таяли диким медом на языке. Крупные, тяжелые виноградные гроздья свешивались с гибкой подсохшей лозы, и цветом были: чистый аметист, синий лазурит, прозрачно-зеленый хризопраз! Драгоценности – плоды земные, и плоды земли – самоцветы. И те, и другие праматерь Хева любила. Однажды сын ее младший, Авель несчастный, в подарок ей гроздь густо-алых гранатов принес. Замерло сердце у Хевы. Почуяла кровь.

Помолилась за сына! Да поздно.

Все мы чуем кровь всегда и везде! Загодя чуем! Да не уме-

ем читать земли знаки.

А вот мальчик мой, Господь мой, умеет!

Разожгли купцы костер на свежем воздухе. Жарили мясо, коосулю у охотников задешево купили. Освеживали. На вертел насадили; ярко, гордо горел одинокий огонь. Жир капал в костер, шипел, маслом в огонь с раскаленных небес капали звезды.

Сидел Исса слишком близко к огню, красные когти огня вонзились в подол его плаща. Обнял огонь Исса. Вмиг плащ его стал красным и золотым!

Я ахнул. Думал – он закричит и заплачет!

Нет. Так не вышло. Ни крика, ни стопа. Встал над костром. Руки к огню протянул.

Купцы заорали недуром, надрывая глотки: «Ты горишь! Горишь, Исса! Скорей беги к реке! Там – река!» И пальцами в кромешную тьму тыкали: беги, мол, туда! Скорей!

Не шелохнулся. Огонь взлизывал до ладоней, до дрожащего подбородка.

Стоял над костром. Горел. Морщины мгновенно и страшно изрезали лоб.

И я видел, как мгновенно, быстро седеет одна, потом другая рыже-русская прядь.

Белым снегом, инеем морозным голова покрывалась.

Первый огонь, который усмирить, полюбить было надо.

Если дикому зверю положить руки в зубы, зверь пасть на живой плоти сомкнет, и человек рук лишится.

Если голову укротитель в бешеном, веселом и пыльном цирке, на арене, засыпанной опилками, на виду у всего амфитеатра, у толпы всей, дико вопящей, зверю в разверстую пасть засунет – хищник, лишь тонкую паутину человеческой слабости почуя, немедленно человека растерзает; и голова его, с мозгом мягким и сладким, лучшим лакомством для зверя будет.

А что же огонь? И огонь – зверь. Хищна, необорима его природа. Владеть ею нельзя. Приказывать – напрасно. И лишь только любовью...

Они кричали: «Беги! Беги! Скорей! К реке!»

А реки-то и не было. Не было реки рядом.

Лишь тьма, тьма жаркая, пустынная – черной мертвой водой вокруг стояла, черным колесом катилась по ободу времени.

И купцы увидали. И я увидел, из поднебесья своего. Медленно, медленно сползло пламя с Господнего хитона. Медленно стали сворачиваться в красные кольца, опадать на землю алыми, бронзовыми листьями лепестки, языки огня. Из алых они становились – голубыми. Из золотых – синими. Из кровавых – небесными.

Мальчик мой весь стоял теперь в объятиях синего, мощного света!

Да, света; а не огня.

Он весь горел; и синее пламя пробивалось наружу у него изнутри, из-под ребер, из-за ключиц; и улыбка тихо свети-лась на золотом, нежном, почти младенческом сейчас ли-це его; и тихо, тихо опустил он руки перед покоренным ко-стром, и тихо улеглись возле его ног, как укрощенные крас-ные волчата, лъвята играющие, опасные, гибельные пламена.

А сам он стоял в пламенах целебных, непонятных; бес-сильных что-либо сделать его коже, его одежде, его глазным яблокам и всей остальной его плоти – пяткам и ляжкам, рес-ницам и волосам, мышцам и костям.

Он горел на глазах у друзей его! И вот огонь отступил.

Он умирал! И вот он жив.

И даже следа ожогов, волдырей, к коим нельзя прикос-нуться, а также сажи, в кою превратился край одежды его, не отыскать нигде на нем.

И в круге синего, ярчайшего света стоит он, и купцы, сев на землю от изумленья и ужаса, глядят, глядят на него без-отрывно, ибо не знают, опасен ли голубой огонь, внутри же него Исса пребывает; и как долго синее пламя будет обни-мать спутника их; и нужно ли звать на помощь, да и кого в степи, в пустыне звать?

Разве степной кот прибежит, напуганный криками, поло-сатой, пятнистой тенью под ноги шархнется, и не успеет Черная Борода сдернуть с плеча колчан и выдернуть стрелу.

«Эй, Исса, – робко, вмиг охрипшим, осипшим голосом

позвал его, молча стоявшего, Розовый Тюрбан, – цел ли ты? В воздухе мясом горелым не пахнет. Как исцелился ты? Кто помог тебе?»

Замолчал; и все услышали звуки степной ночи.

Пах пряный чебрец. Доносился нежный, еле слышный треск – трещали крупные, как поросята, жирные цикады, а иной раз в чернично-черном воздухе просверкивала серебряным призрачным крестом железно гремящая стрекоза. Огромные стрекозы летали взад и вперед, натываясь то на морды верблюдов, то на скулы людей или тюрбаны их. Жара, доверху наполнившая, как вскипяченное на огне буйволиное молоко, весь долгий, будто заунывная песня, день, к полночи превратилась в сладкий, вязнувший на зубах, медленно текущий в сонное горло рахат-лукум: жару можно было кромсать ножом, кусать зубами, смаковать, наслаждаться ею, а не страдать от нее.

И в томной, пряной ночи услышали купцы голос мальчика, неподвижно у догорающего костра стоял он, объятый нежно-струистым, бирюзово-синим светом:

«Не бойтесь. Никогда ничего не бойтесь. Люди боятся огня. Боятся злого разбойника. Голода. Неразделенной любви. Боятся ступить ступой в новые земли. Боятся смерти. Да, главное, самое верное – смерти они боятся».

«А ты?! Разве ты не человек?!» – крикнул Черная Борода.

«Я человек, – тихо сказал Исса, – и вы тоже люди».

«Ты горюшь светом геенны!» – положив ладонь себе на горло, хрипло воскликнул старик, лицо коего было похоже на старый, высушенный инжир.

«Вы видите свет. Я тоже вижу свет, – сказал мальчик, мой господин, спокойно и весело. – Возблагодарим же Бога за свет».

Он поднял руки над костром вверх, к звездному небу. И запел тихую молитву. О Матери Света пел он. Этой молитвы купцы не знали, но послушно подпевали ему. Черная Борода плакал от страха и радости. Длинные Космы дышал тяжело. Старый Инжир улыбался беззубо, шамкал молитву черной пропастью рта.

И только Розовый Тюрбан, глядя на синий торжественный свет, в коем стоял мой Господь, чуял ноздрями запах хвои и брусники, чувствовал за спиною шелест кедровых игл, воронки колючей леденистой выюги, укрытые белой парчой скаты громадных увалов к густо-синей, полной памяти и смерти зимней воде, и спина его, не глаза его, содрогаясь, видела валы диких вол, яростно грызущих хлебный белый берег; видела восставшие мужской любовной плотью ледяные торосы, перевернутую лодку, привязанную к деревянному колу тяжелой чугунной черной цепью; видела россыпи и вспышки огней в черном зените, безумных числом, яростных богатством, равнодушных ослепленьем, посмертных сокровищ холодных.

А на завтра четыре купца, и Царь мой с ними, и семь их покорных верблюдов, снялись с места ночлега – и шли весь день, и на закате Солнца подошли к достославному граду аш-Шаму, он же Дамаск, и вошли в город.

И я летел над ними, сложив ладони свои прозрачные над головой мальчика моего маленькой живой шапочкой, чтобы светила лучи не напекли ему русое, нежное темя.

Путешествие Иссы. Бандиты

Он залез в холодную пустую электричку и долго сидел там, и очень замерз.

Настало время, и электричка тихо стронулась с места, и поехала, и колеса застучали.

А Иссе казалось, что это стучат его родные цимбалы, деревянные ложечки, сухие косточки: цок-цок, цок-цок! Дерево, звени! Кость, стучи! Время, стучи сухими костяшками! Прямо мне в сердце стучи.

Понемногу набирался народ в электричку. Она недолго стояла на станциях. Со змеиным шипом открывались и закрывались двери. Исса сидел, прижавшись плечом к замерзшей плахе окна, подобрал под себя ноги в катанках. Холодно было его голой голове.

Он с удовольствием глядел в дырку, продушанную жарким ртом того, кто ехал здесь прежде него: в прозрачную линзу видны были фонари и рельсы, огни и крыши, иные города и дальние страны. Наконец электричка остановилась, резко и грубо, звякнув всем железным скелетом, и Исса, пошатываясь, встал, разминая ноги и спину.

– Все! Конечная! – провыл ему в ухо мужской волчий голос. – Давай, гололобый, вытряхивайся, однако! Все уж вышли!

Снизу вверх взглянул на кричащего Исса. Не хотелось ему

отвечать. Спать хотелось.

– Куда приехали? – разлепились губы.

– А куда ты, батя, однако ехал?! Ну ты даешь! Пить надо меньше! Черемхово это! Давай, давай!

Встал Исса. Улыбнулся лучезарно. Чем бы наградить заботливого попутчика? Сунул руку за пазуху. Вытащил из-под холстины плаща, из-под нежнотканого хитона, – там карман у него был потайной, – брошку интересную, в виде синего жука-скарабея.

– Бери, – протянул ладонь, и жук лежал на ладони смиренно, не страшный совсем. – Чистейший лазурит. Из священных копей Та-Кемт. Всю жизнь у сердца берег. Любимым не подарил. Тебе дарю.

Мужчина в мощном, как перевернутая пирамида, овчинном треухе взял в руки безделку, повертел, ухмыльнулся. Верхняя челюсть мужика розовела совсем без зубов.

– Хах! Чо это ты, батя! Охерел, чо ли! Может, тебе самому... – Быстро сунул синего каменного жука в карман. Быстро подумал: «Продам, однако... Толкну Кешке-Сутяге за тыщу... и выпью... в хлам напьюсь...» – Ну давай! Выйдем отседа, чо ли, а то шас лепестричка уедет! И мы, ядрить, обратно в Иркутск! А отседа – сюда! По шпалам! По шпалам!

Вышли из вагона. Мужик в треухе с сомнением поглядел на восставшие под ледяным ветром седые волосенки Иссы.

– Да-а-а, плохо те, дед, без шапки! А знаешь чо! – Размотал с шеи шарф, навертел на голову Иссе, вроде как тюр-

бан. Засмеялся: работой остался доволен. – Вот и не отморозишь уши! Пойдем щас со мной! Тебе, – толкнул локтем Исса в бок, – согреться не помешает!

Исса шел по снегу босыми ногами. Легко шел, ступал радостно.

По снегу, как по облакам.

Так и шли по Черемхову: Исса в тюрбане, мужик в треухе. Косился мужик на Исса: ну чем тут поживиться? Нечем тут и полакомиться! Хилая добыча! Однако вел к себе на хату, в низкий, плоский, в землю мертвой черепахой вросший, срубовой чернобревенный дом. Каменные дома сменились деревянными, внезапно повалил густой и дикий снег, и глаза ИССЫ ослепли от белизны, метущей адской метлой с сажевого, угольного неба. И пахло углем, гарь легко входила в ворота груди и царапала когтями легкие и грудную кость.

Мужик, переходя дорогу, крепко взял Исса за руку: чего доброго, зазеваается, машина собьет дурака! Исса вроде обрадовался, руку живую крепко сжал. Так и шли, рука в руке, как дети малые, до самого дома.

Черные бревна плыли в белом кружеве черными кашалотами. Мужик забабахал в дверь сапогом. Им открыл человек, и не было глаза у него, и черная повязка на слепом глазу, и бежала черная лента через лоб. Мужик в треухе выдохнул: – Шуня, вот гостя привел! Примешь?

Названный Шуней молча пожал плечами. Рукой махнул.

Мужик сдернул треух и оказался под треухом смешной, маленький: рожа колобком, на лбу нотопись морщин, воло-сенки пухом цыплячьим, скулы горят малиной, ручки, как у младенца в колыбели, воздух стригут, так быстро, нелепо машет ими! Пока в комнату шел, с себя сбрасывал треух, ту-луп, все тряпье на пол летело, и Исса подумал: ах ты, неряха. Одноглазый кивнул на стол. Исса обернулся, воззрился. Стол был снедью уставлен, и богатой. Глаза разбежались. Алые крупные рубины икры на хлеб с маслом щедро навале-ны; черная, осетровая запрещенная икра – в фарфоровой ва-зочке посреди стола; пук черемши пахучей – прямо из лит-ровой банки торчит, на всю столешницу чесночный, могучий дух изливая; на жестяном подносе – зажаренная до красноты курица беспомощно, жалко растопыривает бабьи ножонки; в блюдах, в тарелках, в мисках алюминиевых, грязных, непо-требных – куски мяса, ломти сыра со слезой, жаркие апель-сины, колкие ананасы, жар и огонь мандаринов, мощь круг-лых громадных яблок, а вот и виноград свешивает гроздья, синие, сизые, еще от мороза не отошедшие, через край по-золоченной – ах, краденой – вазы!

«Украдено, все это украдено, все это не на свои деньги куплено», – кровью билось, стучало в голове.

– Жри! – крикнул Колобок и вымахнул вбок крабьей ру-чонкой. – Лопай! Радуйся, Шуня угощает! Шуня сегодня добрый!

Одноглазый подошел вразвалку. Взял Иссу за шиворот.

Ростом он был выше Иссы. Шире в плечах. Приподнял Иссу над полом за шкурку, как котенка. Исса уловил запах гнили и коньяка из презрительной щели рта.

– Да, я добрый, – процедил. – Но не всегда.

На пол опустил. Толкнул Иссу в спину. Исса отупело сел на табурет, за стол, на снесь глупо тарачился.

– Ешь! – страшно крикнул Шуня и сложил пальцы в похожий на тыкву кулак.

Исса наклонил голову, мелко задрожал, придвинул к себе миску с жареным мясом, банку с черемшой, от мяса откусил, рванул из банки черемшу, зажевал, как бык – сено. Руки сами подволокли ближе вазочку с черной икрой. Осетровой икры он так давно не едал, что и забыл ее вкус. Ниже опустил лицо. Икру понюхал. Пальцем – зачерпнул. Палец облизал.

Шуня стоял и сипло хохотал.

– Ешь, ешь, ешь! Да ты ложку возьми! Чудо гороховое! – Обернулся к Колобку. – Где подцепил? Зачем приволок?

– Он нам это... – Колобок шмыгнул носом. – Ну, это...

На стреме постоит...

– Постои-и-и-ит! – передразнил мужичонку Шуня. – Держи карман шире!

– Ну, если ты ему покажешь, как надо...

– Не «как надо» я ему покажу, а ствол! – хохотнул Шуня – и вытащил из кармана широких, как флажные полотнища, брюк аккуратный револьвер.

И Исса смотрел на оружие и думал: а как из него стреля-

ют?

И больше ни о чем, в виду роскошной и царской еды, не мог думать он.

Снова наклонил к черной икре голову. Замерзшие руки отогревались. Пальцы ломали хлеб. Чистили мандарин. Он ел икру и мандарин разом, сошедши от счастья с ума. Зубы вгрызались в душистое сочное мясо, и он чувствовал себя ласковым, прикормленным зверем. Наслажденье оборвал Шуня. Он поднес дуло к виску едящего Иссы и тихо, зверски выдохнул:

– Ты. Ешь-то ешь, да не зарывайся. Пора и честь знать. Обед, знаешь, надо отработать.

Исса утер рот ладонью. Поднял светлые, ясные глаза к Шуне.

– Как? Что?

Он на миг оглох от радости и изобилья еды. От тепла и куда приюта.

Шуня вытащил из кармана бумажный пакетик, отсыпал что-то из пакетика себе на ладонь, закинул вверх лицо и сыпанул в нос белый странный порошок. Единственный глаз Шуни, выкаченный, как у старого рака, потеплел, наполнился сладким, сиропным сияньем.

– Что слышал. Ведь не глухой? Давай выпьем! А то ты все жрешь, а пить-то когда будем?

Шуня налил в две длинных, узких, как рыбины, рюмки серебряной водки, и рюмки вмиг запотели – ледяная водка

была. Исса понял, что сидит за столом и ест во всей амуниции – не сняв дорожного плаща, не развязав ремни сандалий, не стянув со спины походного узелка. Стыдно! Хотел встать и раздеться. Властная рука пригнула его плечо к столу. Рюмка жалобно зазвенела о рюмку.

– Пей!

Исса поднял рюмку и, дрожа, вылил водку себе в рот. Шуня щедро захватил столовой ложкой икры и всунул ложку в зубы Иссе, и Исса чуть не подавился. Глотал, как рыба, немо и затравленно глядя на Шуню, а Шуня ржал бешеным конем, не унимался. Снова наливал водки; и снова пили, и Исса едва пригубил, а Шуня жадно вхлопнул водку в себя, а тут и Колобок вертелся, и резал, и уносил-приносил блюда со снедью, и подавал, и подливал; тут и коньяк объявился, в пузатой арбузной бутылки, оплетенной сухим красноталом; и еще люди вошли, имен их Исса не знал, но все до одного бандитского вида были они, а он был уже чуть пьян и потому их не испугался.

Чьи-то кулаки посунулись к столу, чьи-то руки хватили и терзали еду, глотки смеялись и выгалкивали ругательства, кудри вились, в коньячные бокалы окунали носы, кто-то вылил коньяк себе на затылок, за шиворот, зубы блестели хищно, волчино, и Исса увидел – на костяшках чужих пальцев, на наглых руках, грязных, может, в вокзальном мазуте, протянутых к полному жратвы столу, запеклось красное, горячее, страшное. Кровь.

Еда вперемешку с кровью. Коньяк и белый порошок, от которого дуреют навсегда. Револьвер валялся около вазы с виноградом. Колобок внес кастрюлю с гранатовыми друзами красной свежей икры – только что сам взрезал кету, сам серой солью икру густо усалил, – и взгромоздил на стол. Стол был корабль, нагруженный награбленным добром, он шел, проламывая волны снега и времени, и не тонул. Он не потонет никогда.

Воры, убийцы, разбойники, вы живы всегда, а что вам силы жить дает? Неужели чужая боль, чужая смерть вам радость и счастье несет? Чужие деньги берете, чтобы едою столы завалить, брюхо свое потешить, а если у вас – украдут? Если жизнь свою – отдадите?

И отдадим. И не страшно. И плевать!

Лысый дядька, щеки до переносья в синей щетине, разинул мохнатый рот, золотая серьга блеснула в кривой коричневой ракушке уха. Он заорал и оглушил Иссу, и Исса не сразу понял, что это была песня.

– Ах, остро-остро у пчелки жалко!

Перышко, ты режешь ли каво?!

Наплевать на жись, ее не жалко!

А жалко только поцалуя тваяво!

И все бандиты за громадным столом-кораблем навалились на рюмки и стаканы, как гребцы на весла, и яростно, вразнобой, зубами сверкая, грохнули:

– А жалко только поцалую тваяво!

Шуня размахивал вилкой. Дядька с синими колючими щеками повернул мощную голову к ночному окну, под люстрой мигнула серьга золотым птичьим глазом.

*– Седня я вас, овцы, перережу,
Седня поработаю скобой!
Мене ломает ребры ветер свежий,
А все жа поцалуюсь я с тобой!*

Хор диких мужиков, похожих на оборотней, на деревенских колдунов, напяливших на башки волчьи и медвежьи шкуры, грянул на всю хату:

*– Мене ломает ребры ветер свежий,
А все жа поцалуюсь я с тобой!*

– Ты чо прискакал-то в Черемхово, конь педальный? – под гром голосов спросил Исса Шуня и влил в рот еще бокал коньяка. Коньяк он пил залпом, как водку, и это было нехорошо. – Чо ты тут потерял?

– Ничего. – Исса глядел Шуне прямо в глаза. – Меня зовут Исса, и я пустился в дорогу, чтобы найти на земле Мудрых, сесть перед Ними на снег и говорить с Ними.

– Мудрых?! Это мудаков, блять?! – взвыл Шуня и свирепо

захохотал, затрясся весь, как холодец, и колыхался жирный живот его, и мощные плечи, и бульдожьи щеки. – Ну ты сам мудер, мудака! Мудозвон ты, я погляжу! Ты вот что! – Рванул со стола револьвер. Взвел курок. Опять нацелил на Исса, в лоб ему. – Понял ты все, кто мы тут?! Да-а-а-а?!

– Понял, – кивнул Исса.

Бандиты пели хором:

– Кровью ты мене не запугаешь!

Сам чужую кровушку люблю!

А узнаю, если изменяешь —

Сам тебе богатый гроб куплю!

– А если понял, то, елки, работать на нас будешь! Не всю жизнь, конечно! Не всю, нет! А так, немного! Отработаешь трапезу – и отпустим тебя! Муда-а-а-а-ак!

– Что я сделаю для вас? – тихо спросил Исса, и нежно блеснули в свете старинной рогатой, замызганной люстры, висящей над растерзанным, забросанным мандаринными шкурками и алыми панцирями раков, источающим тысячу запахов мощным столом, юные, шелковые длинные волосы его. И кончиками пальцев, как бы в ободренье себе, он незаметно висящую на груди на тонком ремешке маленькую нэцкэ пощупал.

– А ничо особенного! Постоишь ноченьку на морозе! По сторонам позыришь! И все! И гуля-а-а-ай!

– Последись, ты, мудака, когда мы хазу одну чистить бу-

дем, понятно? – выстрелил Иссе в ухо дробным шепотком Колобок.

– Ну что?! Сегодня идем?! Сейчас!

Грохот голоса Шуни оглушил на миг Иссу. Улыбка, светлее ясной, розово-горящей в ночи бурятской Луны, взошла на лик его. И так он сказал:

– Идем.

Темень густела, пласталась слоями. Крыши осыпались крошевом, кусками старой жести. На зубах хрустел мороз. Лица метались и вспыхивали, голоса летали от лица к лицу, как тугие ржавые, ледяные снежки. Шли тихо, тише волков. Окна горели белесо, плева мороза медленно, неотвратимо затягивала их. Воры умели красться; Исса же не умел. Он шел, наступая на снег всей тяжелой босой ступней, и снег, громко скрипя, обжигал ему пятки. Тюрбан, сделанный из шерстяного, дырявого шарфа Колобка, давил ему на лоб, на темя зимней короной. И знал он, что он Царь; и тихо нес это в себе, как несут тонкую свечу у груди.

Подошли к дому. Хруст снега под ногами. Идите тише! Да мы и так тише мышей. Двое встали у темного озера окна; еще один уперся руками в подоконник; еще один, ловкий, как черная обезьяна, закарабкался по его спине, по лопаткам, встал ему на плечи – и дотянулся до форточки. Белые черви пальцев ползли по обшарпанной оконной раме. Форточка открылась. Колобок просунул в нее голову. Потом вдвинул

плечи. Пополз, и вот уже тощий его зад скрылся за тускло, лунно блеснувшим стеклом.

– Молодец, – прошептал Шуня, – молодец.

Оконные створки распахнулись изнутри. Люди посыпались внутрь квартиры черной чечевицей. Они внезапно стали крошечными, мелкими, черными зернами, бисеринами черной прощальной икры. Что они делали в чужом, ночном жилище? Черная людская дробь раскатилась по углам. Из тьмы раздались придушенные крики. Вопль прорезал черный воздух. Исса стоял бледнее снега. Он молился.

– Ты! На стреме! – прорычала, высунувшись из окна, голова. – Следи! Не то!

Блеснул черный ствол револьвера. Вот они все уже снова на синем снегу, перед ним. В руках чемоданы. Узлы. Кто-то за пазуху толкает шуршащее, жесткое, бумажное. Кто – дышит тяжело, и запах несет на себе, на одежде, соленый. Исса ноздри раздул. Кровь! Кровью пахнет.

Не севрюгой; не балыком; не соленой семгой; а кровью.

А может, и севрюгой, и белугой, и осетром, и икрой, и балыком?!

И это только сон, и он сейчас проснется у костра, и обведет глазами верблюдов, и ветер отдует воловью шкуру от входа в палатку, и далеко в ночи, на крепостной городской стене, разнесется клич третьей стражи: «Оэ-э-э-э! Оэ-э-э-э-э!»

Нет. Не сон. Жизнь. Все слишком настоящее.

– Валим! Пора! Ты! В Багдаде все спокойно?! Или как?!

Ствол уперся Иссе в бок. Он отвел рукой черное железо.

– Нет, – сказал он спокойно. – Не спокойно. Непокойно в Багдаде.

– Что ты мелешь! – Лицо Шуни стало вспучиваться мелкими подкожными рисинами, будто на глазах – прыщами покрываться. – Что...

И тут Исса сказал медленно и внятно, и громко, чтобы все слышали:

– Вы никогда больше не будете воровать. Вы никогда больше не будете убивать.

– Что-о-о-о-о?! – Шуния выше поднял револьвер. – Вы все слы-ы-ы-ы...

– Вы сейчас внесете обратно в дом все вещи и деньги. Вы вынесете из дома вон, на снег, людей, которых вы сейчас убили. Вы положите их на снег лицом к небу, – продолжал Исса. – Вы вытащите на снег из дома старый шкаф, разломаете его на доски и из досок сколотите мертвым гробы. И вы понесете мертвых в гробах на кладбище, оно здесь у вас совсем рядом. И я пойду с вами. И вы будете копать мертвецам могилы. И похороните их. И встанете на снег на колени и помолитесь за них. И больше никогда, никогда не убьете. И не украдете. Никогда. Никогда.

– Идио-о-о-о-от! – шепотом крикнул Шуния. Револьвер в его руке прыгал. – Сам моли-и-и-ись! Перед сме-е-е-е...

Шуния озирался по сторонам. Творилось непонятное. Напарники белели хуже снега. Прозрачными, призрачными

становились лица их. Иной человек валился боком на снег, будто кто отравил его. Корчился в кашле. Слюна тянулась изо ртов белыми плетями. Кто-то бил себя по голове, будто бил в барабан. Катались по снегу. Живые бочонки. Пустые коньячные бутылки. Пустые банки из-под красной, черной икры. Пустые кости и кожа, а под ними – впервые освобожденный дух; и очень больно это оказалось. Кто-то вскочил со снега. Пьяно, жутко смеялся. Кто-то уже пауком полез обратно в окно. И оконная створка слюдяным, серебряным флагом дергалась на ветру, моталась.

– Черт! – крикнул Шуня и выстрелил в воздух. – Куда!

Не слушали его. Не слышали. Глядели только в лицо Иссе. Пятились. Ползли по снегу, вытягивая руки к ногам Иссы, трогали крючьями пальцев его ноги. Его нищие, грубо подшитые войлоком и бараньей кожей катанки.

И уже тащили, выталкивали из окна минуту назад убитых людей – маленькую девочку и, верно, ее мать, длинноволосую молодую женщину с лошадино-длинным лицом, и голые, худые ребра женщины меж ключев изодранной в последней борьбе рубахи сверкали в лунном свете деревяшками ксилофона, а труп девочки испуганно, грубо, как собачий мосол, бросили на снег, и вокруг мертвого ребенка образовалась белая, чистая пустота.

И так лежала убитая девочка в круге снега, как в круге света.

И убитая мать ее валялась рядом, в квадратной гробовой

тени от навеса крыши.

И уже громоздко, угрюмо валился, падал из орущей немой пасти окна старый шифоньер, и сапоги и руки жестоко, будто опять убивали, разламывали на доски, как и было приказано, старое дерево, старую фанеру, старую березу и ель. И стучали молотки. И визжали пилы. Разыскали, на то они и воры, инструменты в кладовке. Мужчины в доме не было, он умер или ушел, а инструменты остались.

Шуня стоял с револьвером в руке. Тряслись, как у верблюда, что хочет плюнуть да не может, губы его. Черная повязка надвое рассекала лицо. Будто черный шрам или полоска черной, запекшейся крови.

– Что вы творите! Эй! Гады! Дряни! Я ж вас кормил! Поил! Это все... он!

Он давно догадался, кого тут надо убить.

– Это этот приبلуда во всем виноват!

Колобок поднял молоток, чтобы глубже заколотить гвоздь в самодельный гроб, и не опустил руку. Из шкафа, из ребрастых досок выпала кукла. Фарфоровое личико; рыжие мочальные космы. Платье в горошек. Резиновые голые ноги. Кукла упала на снег перед коленями Колобка и хрипло сказала:

– Мам-ма!

Колобок заплакал. Из рук у него выхватили молоток. Гвозди входили в дерево на лютном морозе, как в масло. Шуня наставил револьвер в грудь Иссе и выстрелил.

Он выстрелил, и пуля, вылетев из дула, описала в морозном звездном воздухе огромный круг и снова влетела в черный круглый железный рот револьвера. Изумленно глядел Шуня на револьвер в своей руке. Перевел глаза на Исса. Исса стоял смиренно и тихо, босыми ногами на синем снегу, и грубую холстину плаща полночный ветер мотал, вил у него за спиной. А вокруг затылка Иссы вставало нежное, чуть видимое сиянье. Как вокруг Луны в сильный, неистовый мороз, когда и дышать нельзя, и плакать тоже: слезы на морозе застывают. Все стынет: и кровь, и масло. Глаза стынют в орбитах.

– Так вот ты кто, – потрясенно сказал Шуня, и смех поздней, страшной догадки покривил его одноглазое лицо. Трещины пошли по лицу его, как по разбитой яичной скорлупе. – А я-то...

– Брось револьвер, – просто сказал Исса.

– Ты мудреца искал, чтобы поговорить! А может, со мной поговорить бы надо!

– Говорю с тобой.

– Говоришь! Да, говоришь! А говорить-то о чем?! Говорить-то больше не о чем! Все уж сказано! Сказали все! И я! Все! Сказал!

Исса видел, как ходит ходуном его рука, сжимающая оружие. Шуня размахнулся, чтобы бросить револьвер на снег, Исса это видел. Да будто толкнули Шуню под локоть. Он криво развернул руку, выставил углом локоть, ветер отпах-

нул полу его могучего толстого тулупа, он, будто пацан – леденец, засунул дуло себе в рот и нажал курок.

Исса стоял над мертвым Шуней, а воры заканчивали мастерить сумасшедшие гробы.

Когда они прекратили бить и колотить – осторожно, аккуратно положили в корявые гробы, из нафталинового шифоньера сработанные, убитых мать и дочь, и накрыли крышками, и забили гвоздями. Вскинули на плечи.

Исса сопровождал воров, с гробами на плечах, на кладбище. Они прошли мимо всех могил и оград к самому кладбищенскому краю, туда, где кладбище незаметно переходило в таежный бурелом.

«Он все сказал, – билось внутри Иссy солнечным, ясным светом, – он все сказал. И все речи уж все давно сказали. Уже не слушают речь. Да, это он мудро, хорошо сказал. Никто уже не слушает слова; и речь становится мусором, швалью, грубой подстилкой, плевком площадным. Слова не услышат, так, может, хоть свет увидят? Ангел мой! Дай мне света! Больше ни о чем не прошу».

В пустой и открытой, только ветер гулял между стен, каптерке могильщиков взяли, схитили лопаты. Долго копали на морозе яму. Хотели две могилы, да осилили только одну. Вечная мерзлота звенела под лопатами, летела ввысь мелкими алмазными осколками. Люди положили в яму сначала мать, на нее – маленький гроб: дочку. Засыпали землей. Забрасывали снегом. Потом, как и просил их Исса, встали

в снег на колени, и каждый, как мог, молился.

Исса повернулся пошел, глубоко вдавливая следы свои в чистый снег. Он еще слышал, как плакал Колобок. Над головой Иссy падали с небес, прочерчивая небо полосами белой крови, крупные синие, как дареный Иссой Колобку круглый саянский лазурит, владычный скарабей, драгоценные звезды.

Звезды падали и умирали. Исса шел и молился.

Он шел краем кладбища, потом краем тайги, потом краем смерти.

Дневник Иссы. Разбойники

палимпсест

Я бросил огонь в мир, и вот я (охраняю) его, пока (он) не запылает.

...стерегу костер. Разжег его. Кто заговорит на моем (языке)? Когда?

...говорит на языке своем. Я всех понимаю. Меня никто не (...).

Еще услышат. Изменятся? (Все) умрут, неизменные. (Или – не) все умрут? Да, не все (умрут). (Но) все изменятся.

...нет ничего неизменного в мире, под (мертвой?) Луною.

Мы прошли Пальмиру и (дивовались) на богатый город. Но и бедные (кварталы) в нем тоже есть.

...напали разбойники. Подошли к нам на бедной (улице) и приставили (ножи) к нашим горлам.

Сказал: Что вы (хотите) от нас? Наши жизни? Сказал: Возьмите их.

Молчали, смеялись. Тогда (сказал): Дайте мне (нож).

...из разбойников, растерявшись, протянул мне нож.

Взял я нож, взмахнул им и (разрезал), на глазах у (раз-

бойников и купцов), руку (свою), запястье (свое). Полилась кровь. И смотрели люди (на кровь), будто впервые видели (ее).

Сказал так: Люди! Видите кровь? Кровь (течет). Если вытечет вся – станет (человек), как пустой бурдюк, и, будто в мешке, будут (перекатываться?) под кожей кости его. Так может стать с каждым из вас. Знаете ли вы, что такое (смерть)?

Молчали. Видел, как пот (течет) по лбу купца по имени Розовый Тюрбан.

И Черная Борода (помотал) головой: Нет, не знаем мы, (...), что такое смерть! Как может живой это знать?

Разбойники молчали. И видел, как лица их (становились) мрачными, страшными.

...не знали, что сказать. Ибо никто из них тоже не знал, (что такое) смерть.

Сказал так, голос (возвысив): я иду! Я в дороге! В пустыне (подстерегает дикий) зверь, хищный кот. В горах – снежный барс. В городах – грабители. На дорогах – война между племенем (и племенем). Стрела, огонь, петля, нож всюду (стерегут) меня. И, однако, не думаю об этом, а просто иду. Так знаю ли (я сам), что такое смерть?

...молчали и слушали

И сказал тогда: Узнаю и я (о ней) в свой черед!

Никто не знает часа смерти своей, сказал (купец) Длинные Космы.

И сказал тогда: если б (узнал) час смерти своей, как бы (жить стал)?

И сказал (первый) разбойник: Жил бы, как (жил) доселе!

И второй: Не пожалел бы ни о чем?

Третий сказал, и голос его был (еле слышен): Я бы сначала начал жизнь. (Жил бы) по-иному. Все бы (исправил) непоправимое. Отказался бы от соблазнов. Стал бы (человеком), а не скотом!

И крикнул ему: А сейчас ты скот?!

И стоял (он) тихо. И (я) видел, как медленно текут слезы по лицу (его).

...разбойники сложили (ножи) свои к ногам моим и тихо (удалились) прочь.

Купцы хотели (подобрать) ножи, но сказал им: Не кошитесь в пыли улицы! Не нагибайтесь за пройденным! Не (присваивайте?) то, чем убивали; лучше родите то, что жить будет. И сказал им: Блажен тот, кто был до того, как (возник). И еще сказал: Блажен тот, кто знает Свет.

И сказали: Покажи нам (место), где Свет, ибо нам необходимо найти его!

И сказал: Тот, кто имеет уши, (да слышит)! Есть Свет внутри человека Света, и он освещает весь мир. Если он не освещает, то (тьма).

И наклонили (головы свои) в тюрбанах. И молчали, и в молчании (был) Свет.

Путешествие Иссы. Танго на рынке

Сегодня я вспомнил, что меня когда-то звали Василий.

Это открытие не изумило, не потрясло меня. Я подумал: да, верно, да, давно, – и все. И больше ни о чем не думал. Василий так Василий. Все равно.

Теперь-то я Исса; и мое имя отнимут у меня только вместе со мной.

Шел и шел, переступал ногами. Ночь умирала, лопались белые икринки звезд.

Наступило ясное, морозное утро, лиловые сумерки разрезал нож первого, ярко-малинового солнечного света, и я обнаружил себя, медленно, петушино-важно подходящим к странному, многолюдному торжищу. А, да это ж рынок, быстренько догадался я, и продуктовый, и толкучка в одном флаконе! Вот, подумал быстро и жадно, рынок – это же жратва, надо направлять туда лыжи, ибо внезапно живот стал терзать изнутри страшный зверий рык, и я, ковыляя по обледенелой улице, даже положил на живот себе, на хитон, под холщовый плащ, руку – чтоб ладонью утихомирить зверя.

А, напрасно! Скосив глаза вниз, я обнаружил, что вовсе ни в каком не в хитоне и не в плаще, а в своем драненьком иркутском зипунишке иду; и до того смешно мне стало, а потом страшно.

Я перешел липкую незримую трясиину страха по тонкой,

по снежной нитке. Рынок гомонил уже вблизи, я поедал глазами торговков, лотки, рассыпанную по мерзлым доскам снедь, баб с мешками, торчащими прямо из сугробов – из мешков они ловко выдергивали сапоги, валенки, расшитые самодельные унты и, зазывно трясая ими в воздухе, как черной ржавой ложкой – в прозрачном стакане мороза, бойко продавали. Шла торговля, и на меня тут глядели, как на настоящего покупателя.

«Я Исса или не Исса?» – спросил я себя и внимательно к себе прислушался – что сердце ответит. Оно молчало и только тяжко, редко билось. Спасибо, что еще бьешься, весело сказал я ему. И пошел меж рыночных рядов.

Вокруг черемховского рынка ограды не было, он свободно, как цыганский табор, развалился на ледяной круглой тарелке неведомой мне площади. Женщины мерзли за прилавками по-разному: кто радостно и громко выхвалял товар, кто скучно, мрачно глядел исподлобья, глубже запрягивая красные деревянные, в цыпках, руки в варежки, в муфты, под жирный фартук, грея их теплом большого живота. Я зырил на товары: всякой твари по паре тут было. И бабьи духи! И вязаные носки и овечьи рукавицы! И густо-синими пирамидками наваленная жимолость! И россыпи кровавой клюквы! Да нет, это гранаты выковыряли из прибайкальской скалы – розовые, черно-вишневые, пламенно-алые – и разбросали тут, на деревянной плахе, на показ, на погляд!

А там, там, дальше, я сглотнул слюну, голову задурили за-

пах и краски, – ломти розового, как крылышки фламинго, сала, грубые булжники сырных голов, яркие мячи апельсинов... батюшки, а дальше-то!.. рыбы, рыбы, сколько рыб! Господи, и золотые, с парчовой жатой шкуркой, копченые, и инистые бревна замороженной, свежей, а вон и осетры лежат, драконы енисейские, с торчащими костяными шипами, и ельцы серебруются, а что это под гладким стеклом валяется?!.. это нежные ленки, а вон и толстый, как поросенок, чир, и спинка у него жирная трясется, даже отсюда вижу... и рядом с чиром – длинненькие такие, стройненькие... сабли казачки... рельсы узкие... красавцы мои, омули!

– Омуля! Омуля! – заверещала торговка в высокой, как поповская митра, шапке, подметив мой неотрывный взгляд. – Омуля свеженька! Только што с Байкала!

– Их же запрещено в открытую продавать, тетка, – внятно сказал я, подшагнув ближе. И рукой в цыпках обтер рот от текущей, как у зверя, слюны.

– Это где в другом месте запрещено! – Торговка пыхнула в меня паром изо рта, как клубом табачного крепкого дымка. Я уловил запах водки. – В Иркутске – запрещено! А у нас – разрешено!

Но быстренько, оглянувшись по сторонам: зырк-зырк! – накинула на омулей клетчатый шерстяной платок. Словно, спящих, пледом укрыла.

– А чо, – присунулась ко мне, а я стоял очень с нею рядом, и все сильней слышал от нее сладко-горький тошнотный дух

самогона, – а ты, дедок, как нащелт омулечка? Щас взвешу, сговоримся!

Я весело глядел на ее чересчур румяное, кирпично-бордовое лицо. И она так же радостно тарашилась на меня.

Я незаметно вывернул руку назад и попытался нащупать на спине дорожный мой узелок. Там, я помнил, лежал мой драгоценный вяленый омуль, перед уходом навсегда из дома в скитальную торбу засунутый. Рука встретила пустоту. Я растерялся. Краснолицая торговка мгновенно поймала изменение в моем лице. И углы ее губ скорбно опустились.

– Бомж, ну да, конечно, – сказала тихо, самой себе. И громко уже – мне:

– Шатаетесь тут! Слямзить бы каво только!

Я все стоял, стоял около чудесных рыб и напряженно думал о том, где я потерял узелок.

– Нет, я не...

Бабенка не слушала.

– Пшел вон!

Мои глаза не отрывались от ее глаз. Будто серебряная паучиная пряжа дрожала в морозном сизом мареве, соединяла наши пульсирующие зрачки. Внезапно что-то невидимое легко вышло из меня, и я увидел себя и бабу как бы со стороны. Немного сверху... с высоты. С небольшой высоты; так, в два человеческих роста примерно.

Я видел свое тело, стоящее перед лотком и орущей торговкой; видел разложенных на прилавке и под стеклом, под-

свеченным лампами и, вот чудо, еще и двумя свечами, настоящими огарками, дивных царей-осетров, богатыря-чира, моих милых омулей; видел соседнюю с нами торговку, он торговала копченой и соленой рыбой, и радужно-нефтяно, тускло-восково блестяли срезы толстых, мощных рыб в призрачном свете раннего утра, на лютом морозе, в свечной допотопной подсветке. «Свечи зажигают, как при царе Горохе», – подумала моя веселая душа, на миг выйдя из жалкого, дрожащего тела.

– Эй ты! В тюрбане! Ты! – крикнула торговочка копчушками, она помоложе была и покрасивей, чем товарка. Шапочку кокетливо сдвинула на затылок – мол, мороза не боюсь! В мочках ушей нагло посверкивали в лучах фонарей, заставляя вообразить себе не черемховский рынок, а бал в дворянском собрании, маленькие алмазные горошины. – Да, ты, давай гребни сюда!

Я видел сверху, как тело мое сделало один, другой нетвердый шаг к бойкой бабенке. И мысль была: «Ударит? Оскорбит? Упрашивать начнет, чтоб ее рыбину купил?»

Тело по имени Василий, я это помнил, тихо подошло к торговке. Бабенка глядела на голодные глаза, вставленные под желтый, смертный свод чужого черепа, под наверхенный из битого молью чужого шарфа клоунский тюрбан.

И, я это видел сверху и не умопомрачился от счастья и чуда, – бабенка эта, молоденькая, в алмазных сережках, схватила вдруг с прилавка своего, из-под стекла, где горели, как

на елке, свечные огарки, рыбину, омуля соленого – и протянула мне, далекому и слабому от голодухи телу моему! Я видел, как мои руки схватили омуля и, жирного, прекрасного, прижали к груди.

– Польто жиром обляпашь, дурак! – крикнула алмазная торговочка. – Жри! Лопай!

И я видел сверху и сбоку, паря над покрытыми инеем рыночными навесами, как тело мое стояло и на морозе, причмокивая жадно, ело дареного серебряного омуля. И я, если бы мог, заплакал бы от радости. Да стыдно мне было: мудрецы пламенны, они не плачут, было так сказано в той рваной книжке Петровича, без начала и конца.

– Да-а, – длинно, протяжно вздохнула первая торговка, стерегущая осетров и свежих омулей, и зычно, трубно высморгалась в необъятный носовой платок. – Сколько шас этих, ну, этих развелось! И ведь не прикажешь ему работать! Вишь, слабый да старый! Свое – отработал! А пеньсия... ну, стыд сказать ведь, што у нас за пеньсия в Расеи...

Зубы мои жевали омуля. Кажется, мололи даже кости. Рот плюнул особо острую кость, нос втянул тонкий, солено-терпкий, нежный запах.

И синий призрачный плащ далекого Байкала, где, я знал, живет мой единственный Свет, плеснул в мое тело с небес, и досягнул моей души, и напомнил: не стой на месте, о путник, иди, всегда иди вперед, чтобы достигнуть того, чего желаешь ты и что суждено тебе небесами.

Иди скорей ко мне, сказал мне налетевшим ветром Байкал, я твой царь и владыка; пока тут ешь рыбу мою, я подожду. Отдохни, пожуй маленько. Но долго не тяни кота за хвост. Ты должен дойти. Дойти в Тибет. Ты, о Исса, сквозь пустыни Кандагара и долины Кашмира, через священные реки Азии Инд, Ганг, Аму-дарью, Амур, Ангару, Янцзы и Селенгу должен дойти в Тибет; и синий щит Тибета – Байкал, и глаз его – синий Свет, и глядит он внутрь тебя, видя позор твоих потрохов и усилья твоего робкого духа.

– Вкусно?! – оглушительно крикнула мне в ухо молодушка в алмазиках.

И рухнул я с небес, и опять вошел в тело мое! Сам не заметил, как это стряслось.

– Очень, – вылепил одно лишь слово дрожащими обсоленными губами, больше не смог.

И тут как рявкнет, как вжарит музыка из-за рядов! Аж клюква на снег у седой бурятки покатила, запрыгала испуганно, разлетелась красной кетовой икрой.

– Утомленное сол-нце... нежно с морем проща-алось!.. В этот час ты призна-а-ала-а-ась... что-о нет!.. любви...

И, еще дрожа м"елкой дрожью от внезапного снова вселенья в уже было навек покинутое, я так думал, нищее тело мое, я увидел с изумленьем – ох, ешкин же кот, сказал я себе потрясенно, и недоеденный мною хвост омуля выпал из рук на снег, – как из-за угла, из-за рыбного ряда выскользнула на вольное, свободное от народа место женщина в ватнике,

из-под ватника – короткая юбочка, еле прикрывает стройные колени; вся такая складная, справная, ну просто статуэточка. Видел я однажды у Петровича в гостях такую статуэточку. Египетскую. Из дерева черного выточенную; а внизу позолотой было начертано: «ЕГИПТЯНКА». Петрович мне сказал: «Вот, на двадцать третье февраля подарили». Я тогда взял статуэтку и отчего-то слегка подышал на нее, как на стекло, чтобы она запотела. Такое гладкое, сладкое светилось шоколадное дерево. «Ебеновое», – со знанием дела сказал Петрович. «Не матерись», – сказал я.

Женщина на снегу крутилась под музыку. Гибко наклонялась туда-сюда. Ее руки взвились, будто бы упали кому-то на плечи. Но никто не танцевал с ней. Она танцевала с пустотой. А люди стояли и, скалясь, глядели на этот цирк. Солнце вставало. Лучи брызгали на белую, бензинную, мазутную, ледяную землю, на сковородку рыночной площади подсолнечным дешевым маслом, без запаха.

– Мне немного взгрустну-у-улось... без тоски, без печали!.. в этот час прозвуча-а-а-али-и-и... сло-ва!.. твои...

Юбочка била по коленкам, взвивалась легкой цветастой шелковой тучкой – да, я не ослеп, эта женщина под ватник надела юбочку в мелкий полевой цветочек, а может, это было забытое летнее платье. Ватник на ней был расстегнут, и я рассмотрел, что да, платье, и ворот расстегнут тоже, и видно, как золотой голомянкой проблескивает на груди крестик, когда она поворачивается – резко так: раз, два! – а потом от-

кидывается назад, едва не касаясь затылком прилавка с рыбами. Рыбы, кажется, тоже застыли в изумлении. Музыка! Мороз! Торговля бойкая! Утро! И эта баба, чуть ли не в довоенных ситцах, упоенно танцует! Да она никого не видит, не слышит! Только – музыку!

– Ра-а-асстаемся, я не в си-лах злии-и-и-иться!.. Ви-и-и-иноваты в этом ты-и-и и я-а-а...

Я глаз не сводил с танцующей. Тот, чья музыка была, крутанул ручку магнитофона. Включил громкость до отказа. На полную мощность.

– Утомленное со-о-о-лице!.. нежно с мо...

И тут я не знаю, что со мной сделалось. Я не робкого десятка был всегда, но и на рожон не лез. «Не просят – не лезь!» – вот был мой девиз. А тут меня как шатнуло! Я и не думал больше, кто я такой: Исса или Василий. И сколько мне осталось жить.

Я вошел в снежный круг, где костром горел ее танец. Женщина так танцевала, что руки мои сами подхватили ее. Просунулись под расстегнутый ватник, ущупали гибкую, клонящуюся взад-вперед нервную, слишком тонкую, как у осы, талию. Большие мои пальцы ощутили женские ребра. Ладонь легла на женский копчик.

Мое лицо оказалось напротив ее лица, и я увидел, что у женщины были раскосые глаза, поднятые к вискам, и смуглая складка нависала над верхним веком, – так розовый выгиб раковины скрывает умную, прозорливую, зрячую мякоть

улитки. Я прижал танцорку к себе, полы ватника разошлись, и через мохнатый свой зипун я животом ощутил ее живот, жаркий и близкий, почти голый под невесомым ситцем в маленький синий, скромный цветочек.

– Нежно с мо... нежно с мо... нежно с мо... нежно с морем проща-а-а-алось!..

– Эка как танцуют-то тангу! Ловко!

– Ой-ей, тетьки-и-и-и... Глядитя-а-а-а... Исчо один шамашедший!.. Во, все, заматано! Люська нашла себе пару!

– Ай да пара, ексель! Гусь да гагара!

– И ведь как шпарят, блин, как чертеж чертят! Танцы, блин, со звездами!

– Люська!.. Люська!.. Наддай!.. Сделай тройной тулуп!.. Сделай ты этого воробья, не видишь, он те в подметки не годицца!..

Я, прижимаясь щекой к горячей румяной, широкой миске ее раскосого лица, выдохнул вопрос:

– Зачем... тут танцуешь?

Мазнул глазами по глазам; блеск узкого лезвия резанул мне по зрачкам, и я чуть не закричал от боли. Вот Чингисханка, подумал. Особо резко, черечур грубо, ну, так получилось, я не виноват, крутанул ее за руку, и она крутнулась дикой юлой у меня под рукой, и я держал ее только за кончики приподнятых, прозрачных на морозе пальцев.

– А ты?

Музыка снова завела бесконечную шарманку: «Утом-

ленное со-о-о-олнце-е-е-е!..» Там и слов-то больше других не было, только вот эти. Играй не хочу, пой до посиненья.

Моя морозная монгольская тангера в ситчике так смугло, густо разругивалась, что я понял – на сковородке ее лица можно было выпекать оладьи. Скулы торчат, ушки маленькие, прижаты, как у охотящейся рыси. Я однажды рысь в тайге видел. Она на дереве сидела. Затаилась. А я на лыжах шел. Это я еще женат тогда на Рае был, на первой своей. И еще мертворожденного младенчика мы не похоронили. Казалось тогда – жизнь сладка и бесконечна! И я пошел в тайгу, поехал на автобусе к Листвянке поближе, и тайгой пошел по накатанной охотниками лыжне к Байкалу, мимо Листвянки к Голоустному, к Котам, сезон был разрешен, а я, молодой, стрелял хорошо, и хотел Райке дичь подстрелить. Так, о звере особенно не думал: думал о птице, и еще думал так: что подвернется. Иду, а эта рысь – надо мной – на ветке сидит! На лиственничной... хвоя на всех елях-кедрах, а лиственница-то – голая... как голая баба... И рысь, кошка рыжая, вся на виду. И я ее вижу. И она меня видит. И медленно, медленно ружье снимаю. И вдруг потом всего ошпарило: не буду! Не буду стрелять, язви ее, рысь эту! Потому что она мне тогда – на миг – женщиной показалась... сидит, вроде, бабенка сивенькая, веснушчатая, вроде моей Райки, на ветке, и ногами машет...

Да, ушки... Рысьи ушки. Чингисханьи глаза. Аратские прямые плечи. Нет, это не бурятский прищур. Она монгол-

ка. Монголка, косорылка!

Красавица...

Танго лилось коричневым медом. Рынок глазел на нас – и торжники, и покупатели. А мы все танцевали. И я уж подумывал: ну и танец, ядрить его, и я туда же, старая солонка, с молодой бабой среди зимы, на рынке заштатном, растанцевался! очумел совсем, видать, от опухоли своей этой в сердцевине башки! – как нам разом оборвали музыку, и мы с монголкой остановились так быстро, что не удержались на ногах – и упали в натоптанный снег.

И, когда лежали на снегу, а она хохотала, будто б я ее щекотал, хохотала как припадочная, – я скосил глаза, повел ими вбок, прямо по голым, в капроновых чулках, струнам ее ног – и повел зрачки донизу, до самых ступней, и, елки, ножки-то у моей монгольской царевны были в черные лодочки на шпильках обуты! В мороз-то!

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «Литрес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на Литрес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.